

Литрес ≡ Классика

Эрнст Теодор Амадей Гофман

ЖИТЕЙСКИЕ
ВОЗЗРЕНИЯ
КОТА МУРРА



Эрнст Теодор Амадей Гофман
Житейские воззрения кота Мурра

«ЛитРес»

1819

Гофман Э.

Житейские воззрения кота Мурра / Э. Гофман — «ЛитРес»,
1819

Учёный кот Мурр, вообразив себя гениальным поэтом и мыслителем, сочиняет мемуары. По случайности в его рукопись попадают фрагменты биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсlera – мятущегося художника, противостоящего миру косности и филистерства. Две жизненные линии, кошачье самодовольство и человеческий идеализм, причудливо переплетаются в единую картину нравов.

Содержание

Предисловие немецкого издателя	6
Предисловие автора	8
Предисловие, уничтоженное автором	9
Том первый	10
Раздел первый	10
Раздел второй	59
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Эрнст Гофман
Житейские воззрения кота Мурра

ЛитРес
библиотека

© «Литрес», 2026

Предисловие немецкого издателя

Никакая книга не нуждается так в предисловии, как предлагаемая, без него будет непонятно, каким удивительным образом книга эта приняла такой странный вид – вид смеси.

Потому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть предисловие.

У упомянутого издателя есть друг, с которым он живет душа в душу, которого он знает, как самого себя. Этот-то вот друг сказал ему однажды приблизительно следующее:

«Ты, любезный, напечатал уже много книг, и у тебя много знакомых среди издателей; тебе, следовательно, легко будет найти кого-нибудь, кто по твоей рекомендации напечатает некоторую вещь, написанную недавно молодым автором блестящего таланта и отличнейших способностей. Обрати на него свое внимание, он этого вполне заслуживает».

Издатель обещал сделать для коллеги-писателя все возможное. Его немного удивило, впрочем, одно обстоятельство, именно признание друга, что рукопись принадлежит коту по прозвищу Мурр и содержит в себе житейские взгляды этого последнего; слово, однако, было дано, и, так как вступление показалось издателю написанным очень хорошим стилем, он тотчас же с рукописью в кармане отправился на улицу Unter den Linden к господину Дюммлеру и предложил ему издание книги, написанной котом.

Господин Дюммлер подумал, что до сих пор среди авторов, которых он печатал, не было еще ни одного кота; кроме того, насколько ему было известно, никто из его почтенных коллег не имел до сих пор никакого дела с писателями такого рода, тем не менее он решился сделать попытку.

Печатание началось, и издателю были представлены первые пробные листы. В каком же он был ужасе, когда увидел, что история Мурра то здесь, то там прерывается и в промежутках в ней сделаны вставки, относящиеся к другой книге и содержащие в себе биографию капельмейстера Иоганна Крейсlera.

После тщательных расспросов и расследований издатель узнал наконец следующее. Когда кот Мурр излагал свое мировоззрение, он без всякой церемонии разорвал одну книгу, найденную им у своего господина и, беззаботно подкладывая ее листы под свою рукопись, употребляя их в качестве пропускной бумаги. Листы эти остались среди листов рукописи и по недосмотру были перепечатаны как необходимое к ним дополнение.

С прискорбием и грустью издатель должен сознаться, что спутанная смесь совершенно разнородного материала появилась в свет в таком виде лишь благодаря его собственному легкомыслию: он должен был внимательно просмотреть рукопись кота, прежде чем отдавать ее в печать, тем не менее для него еще осталось некоторое утешение.

Во-первых, благосклонный читатель легко выйдет из затруднения, если он снисходительно пожелает обращать внимание на поставленные в скобках знаки: «*Мак. л.*» («Макулатурные листы») и «*М. прод.*» («Мурр продолжает»); затем, так как никто ничего не знает о разорванной книге, можно заключить с высокой степенью вероятности, что она никогда не была в продаже. Другьям капельмейстера, по крайней мере, должно быть приятно, что благодаря литературному вандализму кота они получают некоторые сведения о необычайных приключениях этого – в своем роде очень достопримечательного – мужа.

Издатель надеется на милостивое прощение.

Верно, наконец, и то, что авторы самыми смелыми своими мыслями, самыми удачными оборотами нередко бывают обязаны своим снисходительным наборщикам, содействующим полету их идей посредством так называемых опечаток. Так, например, пишущий эти строки говорит во второй части своих ноктюрнов об обширной рошице (Boskett), находящейся в саду. Это показалось наборщику недостаточно гениальным, и он вместо слова Boskett («рошица») поставил слово Caskett («фуражка»). В рассказе Fraulein Scudery наборщик лукавым образом

представляет упомянутую фрейлейн не в черном платье (Robe), а в черном цвете (Farbe) и так далее.

Но каждому свое! Ни кот Мурр, ни неизвестный биограф капельмейстера Крейсlera не должны быть воронами в павлиньих перьях, и потому издатель настоятельно просит благосклонного читателя исправить опечатки, прежде чем он примется за чтение этого произведения, дабы он не думал о каждом из двух авторов ни лучше, ни хуже, чем они заслуживают. В заключение издатель берет на себя смелость уверить, что он лично познакомился с котом Мурром и нашел в нем особу приятного, кроткого нрава.

Берлин, ноябрь 1819. Э. Т. А. Гофман

Предисловие автора

Робко, с трепещущим сердцем я передаю миру эти повествования о моей жизни, страданиях, надеждах, стремлениях, вылившиеся из тайников души моей в сладостные часы досуга и поэтического вдохновения.

Устою ли пред строгим судом критики? Но ведь я писал для вас, о чувствительные души, о чистые, детские натуры, о родственные мне, верные сердца, и одна-единственная слезинка из ваших глаз утешит меня, исцелит рану, нанесенную холодным осуждением бесчувственных рецензентов.

Берлин, май, года 18...Мурр (Etudiant en belles lettres)¹

¹ Новичок в литературе(фр.).

Предисловие, уничтоженное автором

Со спокойной уверенностью, составляющей прирожденную черту истинного гения, я передаю миру мою биографию для того, чтобы он понял, как доходят до положения зрелого кота, чтобы он познал мои превосходные качества во всем их объеме, дивился мне, любил меня, ценил, почитал и немного обожал. Если кто-нибудь окажется настолько дерзким, что решится подвергать сомнению необычайные достоинства этой замечательной книги, пусть он помнит, что он имеет дело с котом, в распоряжении у которого есть ум, рассудительность и острые когти.

Берлин, май, года 18...Мурр (Homme de lettres très renommé)²

P. S. Какая досада! И то предисловие, которое должно было подвергнуться уничтожению, оказалось напечатанным!

Ничего не остается, как просить благосклонного читателя не относиться слишком строго к несколько гордому тону этого предисловия и принять в расчет, что, если бы взять какое-нибудь умилительное предисловие другого чувствительного автора и перевести его на язык затаенных мнений этого последнего, оно немногим бы отличалось от вышеупомянутого.

Издатель

² Писатель, достигший большой известности(*фр.*).

Том первый

Раздел первый

Ощущения бытия. Месяцы юности



Что это за прекрасная, возвышенная, чудная вещь – жизнь!

«О ты, сладкая привычка существования!» – восклицает известный нидерландец, герой трагедии.

Точно так же восклицаю и я, но не как тот герой в скорбную минуту расставания с жизнью – о, нет! – именно в тот момент, когда я полон восторженного сознания, что я только что всецело сроднился с этой сладостной привычкой и отнюдь не намерен когда-либо с ней расставаться.

Я разумею, точнее говоря, что духовная сила – неизвестная власть или, как там еще можно назвать, управляющий нами принцип, в известном смысле насильственно навязавший мне упомянутую привычку, – должна была иметь гораздо более худшие намерения, чем тот

ласковый человек, к которому я поступил в услужение и который, подставив мне под нос блюдо с рыбой, не отдернет его в ту самую минуту, когда я только что начну лакомиться.

О природа, святая, величественная природа! Как проникнута вся моя взволнованная грудь твоей негой, твоим очарованием, как обвевает меня твое таинственное, полное шепота, дыхание! Ночь несколько свежа, и я хотел бы... Впрочем, ни один читатель, прочтет или не прочтет он эти строки, не будет в состоянии понять моего высокого вдохновения, потому что он не знает той высокой точки зрения, до которой я воспарил! Вернее было бы сказать «вскарбался», но ведь никакой поэт не говорит о своих ногах, хотя бы у него их было четыре, как у меня; поэт говорит только о своих крыльях, если даже они не выросли у него от природы, а являются ухищрениями искусного механика. Надо мной высится глубокий купол звездного неба, полная луна бросает на землю свои искристые лучи и в огненном, серебряном блеске стоят вокруг кровли и башни! Все больше и больше замирает внизу на улицах шумная суетня, тише и тише становится ночь – мимо плывут облачка, – одинокая голубка, воркуя и изливая грусть в боязливых любовных жалобах, вьется вокруг колокольни! О, если бы прекрасная малютка пожелала приблизиться ко мне! Я чувствую, что я полон каким-то чудным волнением, с неудержимой силой меня охватывает какой-то мечтательный аппетит! О, приди ко мне, прелестная чаровница! Я хотел бы прижать тебя к своему больному сердцу и никогда не отпускать от себя! Ха, вон летит она в голубятню, коварная, и оставляет меня здесь, на крыше, тоскующего и безнадежного! Как редко, однако, можно встретить истинную симпатию сердец в это жалкое, черствое, чуждое любви время!

Разве в вертикальном хождении на двух ногах заключается какое-нибудь величие, что порода, называющая себя людьми, изъявляет притязание на господство над всеми нами, над существами, которые с более надежной устойчивостью ходят на четырех ногах? Но, я знаю, они воображают, что это величие заключается в том, что должно находиться в их головах и что они называют разумом. Не могу себе составить ясного представления, что это собственно за вещь, но, во всяком случае, я не желал бы поменяться ролями ни с каким человеком, насколько я могу – по словам моего господина и покровителя – заключить, что под разумом нужно понимать способность поступать сознательно и не делать никаких глупостей. Вообще я думаю, что сознание есть дело привычки; начинаешь жить и проходишь путь жизни, но как – этого никто не знает. По крайней мере, так было со мной, и, сколько мне известно, ни один человек на свете не знает подробности своего рождения по личному опыту, а только по традиции, которая к тому же часто бывает крайне неверна. Города спорят между собой о месте рождения знаменитого мужа; точно так же останется навсегда неизвестным – потому что я сам не знаю ничего в точности, – в подвале, или на чердаке, или в дровяном сарае увидел я свет или, скорее, не увидел, а, появившись на свет, был увиден моей милой мамашей. Потому что, как свойственно нашей породе, глаза мои были покрыты пеленой. Как в тумане припоминаю я резко раздававшиеся ворчливые звуки, которые я испускаю почти против своей воли, если мной овладевает гнев. Яснее и почти с полным уже сознанием ощутил я себя в каком-то чрезвычайно узком вместилище с мягкими стенами; я едва мог дышать и, полный скорби и тоски, испускал жалобные крики. Что-то такое опустилось в мое помещение и весьма нелюбезно схватило меня за живот; это дало мне повод впервые проявить дивную способность ощущать и действовать, дарованную мне природой. Из передних своих лапок, покрытых роскошным мехом, я быстро выпустил острые, гибкие когти и вцепился ими в ту вещь, которая схватила меня и которая, как я узнал впоследствии, была не чем иным, как человеческой рукой. Эта рука вытащила меня, однако, и отшвырнула, после чего я тотчас почувствовал два сильных удара по обеим сторонам моего лица, на котором теперь красуется, смею сказать, великолепная борода. Насколько могу теперь судить, рука, оскорбленная игрой мускулов, управляющих моими лапками, отвесила мне две пощечины, впервые я узнал по опыту моральную причину и следствие, и именно моральный инстинкт побудил меня спрятать когти почти так же быстро, как я их выпустил.

Впоследствии моя способность быстро прятать когти была вполне справедливо оценена, как проявление любезности и, так сказать, *bonhomie*³, и я получил кличку «бархатные лапки».

Как сказано, рука швырнула меня на землю. Но почти тотчас же она опять схватила меня за голову и пригнула ее вниз, так что я своей мордочкой попал в жидкость, которую тотчас же начал лакать, что возбудило во мне особое внутреннее довольство; почему я так скоро догадался, что нужно делать, решительно не понимаю, вероятно, это был физический инстинкт. Теперь я знаю, что напиток, который я вкушал, был сладким молоком. Я чувствовал голод и, пока пил, насытился. Таким-то образом началось мое физическое развитие вслед за моральным.

Снова, но нежнее, чем прежде, меня взяли две руки и положили на теплую, мягкую постель. Все отраднее и отраднее становилось у меня на душе, и я начал проявлять свое внутреннее довольство посредством особых свойственных только моей породе звуков, к которым люди весьма удачно применяют выражение «мурлыкать». С этой минуты я стал двигаться вперед в своем светском образовании поистине гигантскими шагами. Какое преимущество, какой чудный дар неба – способность звуками и жестами выражать свое душевное благополучие! Сперва я только мурлыкал, потом у меня проявился неподражаемый талант придавать своему хвосту самые живописные позы, потом – волшебный дар посредством единственного маленького слова «мяу» выражать радость и скорбь, негу и восторг, тоску и отчаяние – словом, все ощущения и страсти в разнообразнейших их степенях. Что значит человеческий язык в сравнении с этим простейшим способом быть понятным для других!

Но дальше будем продолжать достопамятную, поучительную историю моей юности, столь богатой событиями!

Я очнулся от глубокого сна, я был залит ослепительным блеском, устранившим меня, спала пелена с глаз моих: я прозрел!

Прежде чем я мог свыкнуться с ярким светом, в особенности же с пестрой картиной, представшей моим глазам, я должен был несколько раз подряд чихнуть; но вскоре после этого зрение мое начало действовать так прекрасно, как будто бы я был зрячим уже давным-давно.

О Зрение! Ты удивительная привычка! Без тебя трудно было бы жить на белом свете! Счастливы те высокоодаренные существа, которым зрение дается так же легко, как мне.

Не могу, впрочем, отрицать, что я впал в некоторое беспокойство и испустил жалобный вопль, такой же, как во время своего пребывания в тесном помещении. Тотчас же показался маленький, худой, старый человек, который навсегда останется для меня незабвенным, потому что, несмотря на мои обширные знакомства, я никогда не видал ни одной личности, равной ему или хотя бы способной идти с ним в сравнение. Среди существ моей породы случается часто, что та или другая зрелая особа обладает белым или черным мехом с пятнышками, но чрезвычайно редко можно найти кого-нибудь, кто бы имел белые, как снег, волосы на голове и в то же время черные брови цвета воронова крыла – как раз такое сочетание цветов было у моего воспитателя. Дома он носил короткий, ярко-желтый шлафрок, наводивший на меня ужас, благодаря чему, как только мой господин приближался ко мне, я кое-как, насколько мне позволяла моя беспомощность, сползал с белой подушки, на которой лежал. Господин мой нагибался ко мне с ужимкой, казавшейся мне дружеской и внушавшей доверие. Он брал меня на руки, и я благоразумно воздерживался от игры мускулов, управляющих когтями, – идеи «царапать» и «получать удары» естественно соединялись в моем уме; и на самом деле, у моего покровителя всегда были хорошие намерения, потому что он ставил меня перед блюдечком со сладким молоком, которое я жадно лакал, чем он немало забавлялся. Он много говорил со мной, но я его не понимал, потому что тогда мне, неопытному молоденькому котенку, было еще чуждо понимание человеческой речи. Вообще я мало что могу сказать о моем покровителе.

³ Добродушие (*фр.*).

Но не подлежит никакому сомнению, что он должен был иметь большие познания в разных отраслях наук и искусств, потому что все, приходившие к нему (среди них я заметил некоторых людей, у которых на груди были крест или звезда на том самом месте, где природа наделила меня желтым пятнышком)... Итак, все, приходившие к нему, обращались с ним необычайно учтиво, иногда даже с оттенком боязливой преклонения, как впоследствии я с пуделем Скарамушем, и называли его не иначе, как «мой достопочтенный, мой драгоценный, мой неоцененный мейстер Абрагам!» Только две особы называли его просто «любезный» – высокий тонкий господин в светло-зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, чрезвычайно плотная госпожа с черными волосами и множеством колец на всех пальцах. Господин, должно быть, был князем, госпожа – еврейской дамой.

Но, несмотря на своих знатных посетителей, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке, расположенной очень высоко, так что мне чрезвычайно удобно было делать через окно первые свои прогулки на крышу и на чердак.

Да, не иначе я рожден на чердаке! Что подвал, что дровяной сарай, родина моя – чердак! Климат, отечество, нравы, обычаи, как непогасимо ваше влияние! Вы, и только вы определяете внешнее и внутреннее развитие гражданина! Откуда во мне это величие духа, эта любовь к возвышенному? Откуда эта редкостная, чудная способность вскарабкиваться вверх, это завидное умение совершать самые смелые, гениальные прыжки? Ха! Сладкое и грустное чувство наполняет мою грудь! Властно подымается во мне порыв к моему родному чердаку! Тебе посвящаю я эти слезы, о дорогая родина, тебе это грустное, но торжествующее «Мяу!». Тебе во славу совершаю я эти прыжки, эти скачки, свидетельствующие мою добродетель и патриотическое мужество! Ты, о чердак мой родимый, расточаешь мне щедрой рукой мышек в большом количестве, в твоих пределах я могу иногда стянуть из дымовой трубы кое-какие колбасы или куски сала, здесь же я ловлю воробьев, а порой даже подстерегаю голубя. «О, родина, сильна к тебе любовь!»

Но о моем воспитании, о первых...

(Мак. л.) ...а помните ли вы, всемилостивейший государь, ту страшную бурю, которая застигла адвоката в то время, как он шел ночью через Пон-Неф, и сбросила в Сену его фуражку? Нечто подобное есть у Рабле, но, собственно, ведь не буря сорвала фуражку с головы адвоката, он крепко держал ее своей рукой, предоставив плащ игре ветра; это был гренадер, который с громким возгласом: «Ужасный ветер, милостивый государь!» – проскакал мимо и тотчас сорвал с его парика прекрасную кастановую шляпу; и не кастановая шляпа полетела в Сену, а, напротив, гадкая фуражка солдата под суровым ветром обрела в волнах влажную смерть. Вы знаете все, милостивейший государь, также, что в то мгновение, когда адвокат, совсем пораженный, стоял на мосту, другой солдат с тем же возгласом: «Ужасный ветер, милостивый государь!» – проскакал мимо и, схватив плащ адвоката за воротник, сорвал его с плеч, и что тотчас же третий солдат проскакал мимо с тем же возгласом: «Ужасный ветер, милостивый государь!» – и вырвал у него из рук испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат закричал изо всех сил, бросил вдогонку последнему бездельнику свой парик и потом с обнаженной головой, без шинели и без трости, отправился дальше – составить самое достопримечательное завещание и узнать самое необычайное приключение. Вы знаете все это, всемилостивейший государь?

– Я решительно ничего не знаю, – возразил князь, после того как я кончил, – и вообще я не понимаю, каким образом вы можете мне, мейстер Абрагам, болтать такой вздор? Конечно, я знаю Пон-Неф, он находится в Париже. Я никогда не ходил по нем пешком, зато часто ездил, как прилично моему рангу. Адвоката Рабле я никогда не видывал и никогда в жизни не думал о солдатских проделках. В молодых годах, когда я командовал своим полком, я каждую неделю заставлял давать фухтедей всем юнкерам за проказы, которые они сделали или должны были сделать; что касается рядовых солдат, их наказывать было дело поручиков, что они, следуя

моему примеру, и делали каждую субботу, так что по воскресеньям не было во всем полку ни одного юнкера и ни одного рядового, который бы не получил надлежащего количества побоев. Следствием этого было то, что весь полк, находившийся под моей командой, вместе с моралью, вбитой в него, приобрел привычку к побоям, еще ни разу не выдав неприятеля. Вы меня понимаете теперь, мейстер Абрагам? Вразумите же вы меня ради бога, чего хотите вы с этой бурей, с этим адвокатом Рабле, ограбленным на Пон-Неф? Чем можете вы извинить то обстоятельство, что празднество превратилось в дикую суматоху, что огненный шар попал мне в тупей, что мой возлюбленный сын очутился в бассейне, где его с ног до головы обрызгали дельфины, а принцесса без покрывала и с подобранным платьем, как Аталанта, пробежала через парк, что, кроме того... но кто пересчитает все несчастные случаи этой роковой ночи? Ну-с, что же вы скажете, мейстер Абрагам?

– Милостивейший государь, – ответил я, смиренно склоняясь, – что же было виной всех несчастий, как не эта страшная буря, которая разразилась именно тогда, когда все шло прекрасно? Разве я могу повелевать стихиями? Не испытал ли я сам при этом большего несчастья, не потерял ли я тогда шляпу, кафтан и плащ, подобно тому адвокату, которого я покорнейше прошу не смешивать с знаменитым французским писателем Рабле? Разве я не...

– Послушай, – прервал мейстера Абрагама Крейслер, – еще теперь, после того как уже прошло столько времени, много говорят о празднестве, бывшем в день рождения княгини, о празднестве, во время которого ты был распорядителем увеселений. Тут скрывалась какая-то темная тайна; вероятно, ты, по своему обыкновению, натворил порядком всяких чудачеств. Тебя народ и раньше считал каким-то чародеем; этот праздник еще более усилил такое мнение об тебе. Ну, расскажи же мне подробно все, как было. Ты ведь знаешь, я тогда уезжал...

– Именно то обстоятельство, – прервал мейстер Абрагам слова своего друга, – именно то обстоятельство, что тебя здесь не было, что ты, гонимый бог знает какими адскими фуриями, как безумный, умчался отсюда, заставило и меня быть необузданным: я призвал все стихии на помощь себе, чтобы они нарушили празднество, разрывавшее мое сердце, потому что ты, истинный герой его, отсутствовал. И как сложилось все торжество! Сперва оно тянулось вяло и бесцветно, а потом над людьми, нам дорогими, разразилась беда: ими овладели тоскливые, исполненные муки сны, скорбь, ужас! Знай же теперь, Иоганн, я глубоко заглянул в твою душу и увидел там твою грозную тайну, увидел этот зияющий вулкан, каждую минуту готовый вспыхнуть гибельным пламенем, беспощадно уничтожая все окружающее! Но есть в нашей душе вещи, о которых не говорят даже с самыми близкими друзьями. Потому-то я скрыл от тебя все, что я увидел в твоей душе. Но посредством этого празднества, тайный, скрытый смысл которого относился не к княгине, а к другой любимой особе и к тебе самому, я захотел насильственно овладеть всем твоим «я», разбудить в тебе сокровенные муки, чтоб они, как восставшие от сна фурии, с удвоенной силой терзали твою грудь. Как смертельно больному, тебе нужно было лекарство, взятое из самого Оркуса. Разумный врач никогда не колеблется прибегать к нему во время подобного кризиса: или полное выздоровление, или смерть! Знай, Иоганн, именины княгини совпадают с именинами Юлии; последняя так же, как и первая, носит еще имя Мария.

– Ага! – воскликнул Крейслер, вскочив с пылающим взглядом. – Кто дал тебе, мейстер, право и власть играть мной так нагло и дерзко? Не вестник ли ты самого Рока, что так проникаешь в мою душу?

– Неукротимый безумец! – спокойно возразил мейстер Абрагам. – Когда же, наконец, опустошительный пожар, сжигающий грудь твою, превратится в чистое нефтяное пламя, питаемое твоей глубокой любовью к искусству, ко всему возвышенному, прекрасному? Ты просишь меня подробно описать роковое празднество. Слушай же меня спокойно, а если ты настолько ослабел духом, что не можешь овладеть собой, я оставлю тебя.

– Рассказывай, – проговорил Крейслер, почти задыхаясь.

Он опять сел и обеими руками закрыл лицо.

– Итак, – начал мейстер Абрагам, мгновенно принимая веселый тон, – я не буду утомлять тебя, любезный Иоганн, описанием всех остроумных распоряжений, созданных главным образом изобретательным гением князя. Так как праздник начался поздно вечером, само собой разумеется, что весь прекрасный парк, окружающий увеселительный замок, был освещен. Я постарался при этом достигнуть необыкновенных эффектов, что, впрочем, удалось лишь отчасти, так как по настоящему приказанию князя во всех аллеях должен был гореть вензель княгини рядом с княжеским гербом; обе фигуры состояли из разноцветных фонариков, развешанных на больших черных досках. Но, будучи прибиты к высоким столбам, эти доски очень походили на иллюминированные объявления, гласящие: «Здесь курить воспрещается» или «Воспрещается объезжать таможду». Главным пунктом во время увеселений должен был явиться известный тебе театр, устроенный из кустов и искусственных развалин в самой середине парка. В этом театре городские актеры должны были представить что-нибудь аллегорическое, слишком пошловатое, чтобы произвести какое-нибудь особенное впечатление. Театр находился довольно далеко от замка. Сообразно с поэтической мыслью князя, шествие его фамилии должен был озарять двумя факелами парящий в воздухе гений, других огней не должны были зажигать, пока князь со своей фамилией и свитой не займет место, – тогда весь театр должен был моментально озариться ярким светом. Таким образом, дорога между театром и замком оставалась совершенно охваченной ночным мраком. Напрасно я представлял все трудности, сопряженные с длинным расстоянием между этими двумя пунктами. Князь стоял на своем: верно он вычитал что-нибудь подобное в «Fêtes de Versailles»⁴; к тому же, поэтическая мысль вполне согласовалась с его собственной фантазией, и потому он дорожил ей, как родным детищем. Чтобы избежать какого-либо незаслуженного упрека, я предоставил гения с двумя факелами в распоряжение городского театрального машиниста.

Когда, после всех этих приготовлений, княжеская чета, сопровождаемая свитой, вышла из дверей салона, с кровли увеселительного замка был спущен маленький толстощекий человек. Он был одет в камзол с галунами и держал в своих ручонках два горящие факела. Однако он был тяжел и едва только проследовал двадцать шагов, машина остановилась, лучезарный гений княжеской фамилии беспомощно повис в воздухе, рабочие потянули с удвоенной силой, – и он перекувырнулся вверх ногами. Восковые свечи также перевернулись на бок, и с них стали капать горячие капли. Первая капля упала на самого князя, но он со стоическим спокойствием скрыл боль, хотя походка его несколько утратила свою величественность и сделалась более торопливой. Гений продолжал висеть вверх ногами и вниз головой, витая над группой, которую образовали из себя гофмаршал, камер-юнкера и другие придворные чины, и роняя пылающий дождь кому на голову, кому на нос. Выказать свою боль и таким образом расстроить веселый праздник значило бы нарушить достолюбезную респектабельность, и потому не безотрадно было смотреть, как эти несчастные – целая когорта стоически-мужественных Сцевол – беззвучно и безмолвно шли вперед, могучим усилием побеждая свою боль, не смея испустить вздоха и даже принуждая себя к улыбке, мрачной, как сам Оркус. А литавры звучали, трубы гремели, и сотни голосов выпускали клики: «Виват, виват!» Необычайный контраст между выражением лиц этой группы Лаокоона и всеобщим радостным ликованием придавал трагическому пафосу всей сцены величие, почти невообразимое.

Толстому, старому гофмаршалу стало наконец невмочь: когда горячая капля упала ему прямо на щеку, в бешенстве отчаяния он отскочил в сторону, запутался в веревке, которая была проведена к машине, и с громким возгласом: «Черт бы побрал!» – упал на землю. В тот же момент и роль веселого пажа была сыграна. Увесистый гофмаршал своей тяжестью совлек его вниз, и он рухнул как раз посреди свиты, с громким криком разбежавшейся в разные сто-

⁴ «Версальских празднествах» (*фр.*).

роны. Факелы погасли, воцарилась непроглядная мгла. Все это произошло перед самым театром. Я нарочно несколько минут не приставлял фитиль, который должен был сразу воспламенить плошки и лампы, и дал время всей компании заплутать среди деревьев и кустов. «Огня, огня!» – закричал князь наподобие короля в «Гамлете». «Огня, огня!» – вторила масса хриплых голосов. Когда зажглись огни, разбежавшаяся толпа была похожа на разбитое войско, которое с трудом, еле-еле собирается в одно место. Обер-камергер выказал себя человеком необычайно тактичным, обладающим большим присутствием духа: благодаря его стараниям, через несколько минут порядок был восстановлен. Князь с самыми своими близкими взошел на увенчанный цветами трон, который был воздвигнут на середине площади, занимаемой зрителями. Едва только княжеская чета уселась, на нее, благодаря предусмотрительности и находчивости машиниста, посыпалась целая масса цветов. Однако мрачному Року угодно было, чтобы большая красная лилия упала князю прямо на нос, все лицо его покрылось ее огнецветной пылью и приняло выражение чрезвычайно величественное, совершенно подходящее к торжественности праздника.

– Это слишком, это слишком! – воскликнул Крейслер, разражаясь оглушительным хохотом, от которого задрожали стены.

– Не смейся так, – проговорил мейстер Абрагам. – Я тоже смеялся в ту ночь сильнее, чем когда-либо, я чувствовал себя расположенным ко всяким безумным выходкам, подобно волшебному духу Троллю, я хотел еще больше все перепутать, привести все в таинственный беспорядок. Но тем сильнее вонзились в мою собственную грудь стрелы, которые я направлял на других... Я скажу тебе, в чем дело. Момент жалкого цветочного дождя я выбрал для того, чтобы невидимой нитью, наподобие электрического тока связующей в одно целое все празднество, соединить всех присутствующих со своим таинственным замыслом и потрясти их до глубины души. Не прерывай меня, Иоганн, слушай спокойно! Юлия сидела рядом с принцессой, позади княгини, в стороне. Ни с нее, ни с принцессы я не спускал глаз. Едва только умолкли трубы и литавры, как на колени Юлии упал распускающийся розан, спрятанный в букете ночных фиалок, и, как сладостное дуновение ночного ветра, полились звуки твоей дивной, за душу берущей, мелодии: «*Mi lagnerò tacendo della mia sorte amara*»⁵. Когда раздалась эта песня, – ее играли на английских рожках совсем вдалеке от толпы четыре наших лучших музыканта – с уст Юлии сорвалось легкое восклицание, она прижала букет к груди, и я ясно слышал, как она тихо сказала принцессе:

– Он, наверное, опять здесь!

Принцесса порывисто обняла Юлию и громко воскликнула:

– Нет, нет, о, нет, не может быть!

После этого князь повернул к ним свое пылающее огненное лицо и бросил гневное «*Silence!*»⁶.

Быть может, он и не питал особенного гнева к этому милому ребенку, но дивные румяна – лучших румян нельзя было придумать никакому оперному *tiranno ingrato*⁷ – действительно придавали ему вид нескончаемого, неумолимого гнева, так что все трогательные речи, все нежнейшие ситуации, долженствовавшие аллегорически представлять семейное счастье на троне, совершенно теряли свой эффект; актеры и зрители были в немалом затруднении. Больше того, когда князь в некоторых сценах, отмеченных для такой надобности красным карандашом в экземпляре книги, которую он держал в руках, наклонялся, чтобы поцеловать руку княгини, и отирал платком слезы со своих глаз, – это имело вид такой обиды, такого огорчения, что камергеры, услужливо стоявшие с обеих сторон, шептали друг другу:

⁵ «Я буду молча сетовать на горькую судьбу свою» (*ит.*).

⁶ «Тише!» (*фр.*)

⁷ Жестокий тиран (*ит.*).

– Боже мой, что это случилось с нашим князем!

Нужно тебе добавить, Иоганн, что в то время, как актеры разыгрывали на подмостках свою глупейшую пьесу, я посредством магического зеркала и других ухищрений представлял в воздухе игру духов для прославления небесного создания, обворожительной Юлии; одна за другой лились мелодии, созданные тобой в минуты высокого вдохновения, и то вдали, то вблизи раздавался время от времени боязливый, полный предчувствия возглас, точно зов духа: «Юлия!» Но тебя не было там – тебя не было, друг мой! И хотя по окончании пьесы я должен был похвалить своего Ариэля, как шекспировский Просперо хвалит своего, хотя я должен был признаться, что он исполнил свою обязанность великолепно, тем не менее все, что было задумано так остроумно, показалось мне плоским и бледным.

Юлия со свойственным ей тактом все поняла. Но, по-видимому, она отнеслась ко всему этому, как к обольстительному сну, не имеющему прочной связи с трезвой действительностью. Принцесса, напротив, была взволнована до глубины души. Рука об руку с Юлией она бродила по освещенным аллеям парка, в то время как весь двор находился в павильоне, где в виде угощения подавали мороженое и прохладительные напитки. В этот момент я приготовил самый решительный удар – и опять тебя не доставало, Иоганн, тебя не было! Я метался кругом, исполненный гнева и негодования; я осматривал, хорошо ли сделаны все приготовления для большого фейерверка, назначенного для окончания празднества, как вдруг, посмотревши на небо, я заметил в мерцании ночи над далеким Гейерштейном маленькое красноватое облачко, постоянно предвещающее грозу, которая надвигается медленно, с тем, чтобы потом моментально разразиться с ужасающей силой. Как тебе известно, я сразу могу определить момент этого взрыва, смотря по положению облака. Он должен был последовать менее чем через час. Я решил торговаться с фейерверком. В то же мгновение я услышал, что мой Ариэль начал фантазмагорию, которая должна была решить все: в глубине парка в маленькой капелле раздался хор, певший твою Ave maris Stella⁸. Я поспешил туда. Юлия и принцесса стояли коленопреклоненные около молитвенной скамьи, находящейся перед капеллой. Только что я пришел туда, как вдруг... Но тебя не было там, Иоганн. Не требуй от меня рассказа о всем, что произошло. Ах, без результатов остался лучший подвиг моего искусства, и я узнал тайну, о которой даже, глупец, и не подозревал.

– Говори до конца! – воскликнул Крейслер. – Рассказывай все, все, как было!

– Нет, – возразил мейстер Абрагам, – тебе, Иоганн, это не принесет никакой пользы, а мне растерзает все сердце, если я еще раз должен буду припомнить, как собственные мои духи нагнали на меня страх и ужас! Облако... счастливая мысль! «Пусть же все, – дико воскликнул я, – кончится безумным смятением!» – И я устремился к тому месту, где готовился фейерверк.

Князь сказал мне, чтобы я дал знак, когда все будет готово. Я не спускал глаз с облака, которое поднималось над Гейерштейном все выше и выше; когда мне показалось, что оно находится достаточно высоко, по моему приказанию грянула мортира! Через несколько секунд двор и все общество были на своих местах. После обычной смены ракет, светящихся кругов, огненных шаров и тому подобной материи, вспыхнул наконец вензель княгини, состоявший из китайских фонариков, но высоко над ним в бледном сиянии то выплывало, то снова скрывалось лучезарное имя «Юлия». «Пора», – сказал я себе, зажег жирандоли, и, едва только ракеты поднялись вверх, в тот же миг вспыхнули ослепительные молнии, грянул страшный гром и разразилась гроза, от которой дрогнули горы и лес. Ураган ворвался в парк и завыл во всех кустах, как тысячеголосое чудовище. Я выхватил из рук у одного из бежавших горнистов его трубу и заиграл на ней бешеную мелодию, в то время как артиллерийские залпы бураков, мортир и пушек гремели в ответ на оглушительные раскаты грома.

⁸ Привет тебе, звезда морей (*ит.*).

Пока мейстер Абрагам рассказывал, Крейслер вскочил со своего места, взволнованный ходил взад и вперед по комнате, размахивал руками и наконец воскликнул в полном восторге:

– Прекрасно, чудно, в этом я узнаю своего задушевного друга мейстера Абрагама!

– Я знаю, – проговорил мейстер Абрагам, – тебе по душе все дикое, все необычайное, но я совсем забыл рассказать еще об одной вещи, которая способна предать тебя совсем во власть таинственных сил мира духов. Я велел натянуть эолову арфу, которая находится, знаешь, над большим бассейном, и буря играла на ней, как отличнейший музыкант. Таинственные аккорды этого гигантского органа загадочно сливались с ревом бури и треском грома. Все быстрее и быстрее неслись друг за другом звуки, и можно было различить, что это фурии устроили балет грандиозного музыкального стиля, балет, какого никогда не услышишь и не увидишь среди театральных холщовых декораций.

Через полчаса все было кончено. Из-за облаков показался месяц. Среди испуганного леса проносился с ласковым шепотом ночной ветерок и осушал слезы, блиставшие на омраченных кустах. Время от времени раздавались звуки эоловой арфы, как умирающий звон далекого колокола. И странно, и чудно было у меня на душе. Так всецело я был полон тобой, Иоганн, что казалось, вот-вот ты восстанешь предо мной из могилы несбывшихся надежд, обманутых мечтаний, и я прижму тебя к груди своей. Теперь в тиши ночной я понял, какую я затеял игру, как я думал насильственно разорвать узел, завязанный темным роком, и мои собственные мысли предстали предо мной совсем в другом свете, как создания чуждого мне ума, и, полный трепета и душевного холода, я ужаснулся самому себе.

Множество блудящих огней плясало и прыгало кругом в парке, но это были только лакеи с фонарями, отыскивавшие шляпы, парики, кошельки, шпаги, башмаки и шали, утраченные в быстром бегстве. Я ушел прочь. На большом мосту, лежащем перед нашим городом, я остановился, чтоб еще раз оглянуться на парк: он был озарен магическим светом луны, точно заколдованный сад, в котором веселые эльфы начали свою воздушную пляску. Вдруг до моего слуха дошли какие-то жалобные звуки, какой-то пронзительный писк, точно плач новорожденного ребенка. Я заподозрил, что тут какое-нибудь преступление, низко наклонился через перила и при ярком лунном свете рассмотрел маленькую кошечку, которая с трудом цеплялась за перекладину, стараясь спастись от смерти. Вероятно, кто-нибудь хотел утопить целое семейство новорожденных котят, и вот один из них выкарабкался из воды. Ну, подумал я, хоть не ребенок, а только бедное маленькое животное умоляет тебя о помощи, ты должен его спасти.

– О, чувствительный Юст, – воскликнул со смехом Крейслер, – скажи, где же твой Телльгейм?

– Ну, нет, любезный Иоганн, – продолжал мейстер Абрагам, – вряд ли ты можешь сравнивать меня с Юстом. Я перегостил самого Юста. Он спас пуделя, животное, любезное каждому и способное даже оказывать услуги, если его научить подавать перчатки, табакерку и тому подобное; а я спас кота, животное, которого все ужасаются, которое считается всеми существом коварным, лишенным нежности и теплоты чувства и постоянно находящимся настороже по отношению к человеку, я спас его из чистой, бескорыстной жалости. Перебравшись через перила, я не без опасности для собственной жизни наклонился вниз, схватил котенка, который продолжал пищать, и спрятал его в карман. Вернувшись домой, я быстро разделся и, полный изнеможения, бросился на постель. Но едва только я заснул, как был разбужен жалобным писком и визгом, исходившим, по-видимому, из моего гардеробного шкафа. Я забыл о котенке и оставил его в кармане. Когда я освободил животное из заключения, оно в награду так оцарапало меня, что все мои пять пальцев покрылись кровью. Я было хотел выбросить котенка за окно, но опомнился и устыдился своей мелочности, своей мстительности, непростительной по отношению к созданию неразумному. Словом, я со всей тщательностью и бесконечными усилиями вырастил кота. Это самый остроумный, талантливый, исполненный ума экземпляр кошачьей породы, какой когда-либо можно было видеть; ему недостает только высшего обра-

зования, которое ты, любезный мой Иоганн, легко можешь преподать ему, вследствие чего я намерен предоставить отныне кота Мурра – так я его назвал, – твоему попечению, хотя Мурр в данное время еще не является тем, что юристы называют homo sui juris⁹, все же я его спрашивал, согласен ли он пойти к тебе в услужение. Он вполне доволен моим предложением.

– Какой вздор ты болтаешь, мейстер Абрагам, – проговорил Крейслер. – Ты знаешь, что я терпеть не могу кошек и скорей предпочитаю собак.

– Милый Иоганн, я от всей души прошу тебя, возьми к себе моего кота Мурра, подающего такие большие надежды, приюти его хоть на то время, пока я не вернусь из своего путешествия. Я его уже привел с собой, он стоит в прихожей и дожидается ответа. По крайней мере взгляни на него.

С этими словами мейстер Абрагам раскрыл дверь. На соломенном коврикe, свернувшись калачиком, спал кот, действительно красоты необыкновенной. Серые и черные полосы, идущие вдоль спины, сходились между ушами на темени и составляли на лбу какую-то живописную надпись иероглифами. Длинный красивый хвост его был также покрыт полосами и изгибался с необычайной энергией. Нарядное одеяние, полученное котом в дар от самой природы, пестрело и светилось под лучами солнца до такой степени, что между черным и серым цветом можно было рассмотреть еще узенькие, золотисто-желтые полосы. «Мурр, Мурр!» – воскликнул мейстер Абрагам. «Мрррр, мррр!» – едва слышно ответил ему кот, потом вытянулся, приподнялся, необыкновенно дивно выгнув свою спину и открыл серо-зеленые глаза, в которых искрились как пламя и ум, и гениальность. Так, по крайней мере, утверждал мейстер Абрагам. Крейслер с своей стороны должен был сознаться, что в физиономии этого кота есть что-то особенное, незаурядное, что голова его достаточно толста, чтобы вмещать в себя науки, а его борода уже теперь, в юности, бела и настолько длинна, что при случае кот Мурр может доставить себе авторитет греческого мудреца.

– Ну, можно ли везде спать, – обратился мейстер Абрагам к коту. – Благодаря сонливости ты утратишь живость характера и можешь преждевременно сделаться брюзгой. Принарядись, Мурр!

Кот тотчас же уселся на задние лапки, изящным движением пригладил себе лоб и щеки и испустил звучное, радостное «мяу».

– Вот, – продолжал мейстер Абрагам, – ты видишь пред собой капельмейстера Иоганна Крейслера, к которому ты поступишь в услужение.

Кот уставился на капельмейстера своими большими искрящимися глазами, начал мурлыкать, вскочил на стол, стоявший около Крейслера, а оттуда – без всяких церемоний – на его плечо, как будто хотел сказать ему что-нибудь на ухо. Потом он опять спустился на пол и обошел кругом своего господина, изгибая хвост и мурлыкая, как будто он точно хотел хорошенько с ним познакомиться.

– Скажите на милость, – воскликнул Крейслер, – я почти уверен, что этот маленький герой одарен человеческим разумом. Уж не происходит ли он по прямой линии от знаменитого Кота в сапогах!

– Во всяком случае, – ответил мейстер Абрагам, – верно, что кот Мурр – самое забавное существо во всем мире. Он настоящий полишинель, притом он вежлив и благовраден, скромнен и ненавязчив, как порой собаки, которые своими неумелыми ласками надоедают нам.

– Смотрю я на этого мудрого кота, – воскликнул Крейслер, – и невольно делается мне грустно при мысли, как тесен и ограничен круг наших познаний. Кто может сказать, кто может предчувствовать, как велики умственные способности животных! Если нам что-нибудь или, вернее, все кажется недоступным исследованию, мы тотчас даем имя такому-то явлению и довольны, что наклеили ярлык, и кичимся своей пошлой школьной мудростью,

⁹ Правоспособность(лат.).

которая не видит ничего дальше своего носа. Точно так же все умственные силы животных, нередко проявляющиеся самым удивительным образом, мы, недолго думая, окрестили названием инстинкта. Но я только хотел бы услышать ответ на один вопрос: идея инстинкта, слепого, произвольного порыва, совместима ли со способностью грезить? Что, например, собаки предаются самым живым грезам, это знает каждый, кто наблюдал за спящей охотничьей собакой, переживающей в сонных грезах всю охоту; она ищет, она обнюхивает, двигает ногами, точно бежит изо всех сил, задыхается, обливается потом... Может ли грезить и видеть сны кот, я до сих пор не знал об этом ничего.

– Кот Мурр, – прервал своего друга мейстер Абрагам, – не только видит самые живые сны, но он, кроме того, нередко впадает и в самую сладкую мечтательность, в задумчивость, полную грез, в полубезумное состояние сомнамбулизма, короче, ему свойственно то особое состояние, которое не есть ни сон, ни бодрствование и которое у поэтических натур бывает временем зарождения и восприятия гениальных мыслей. В последнее время, когда он находится в таком состоянии, он ужасно стонет и охает, так что я думаю, что он или влюблен, или сочиняет трагедию.

Крейслер весело расхохотался и воскликнул:

– Ну, так пойдем же со мной, о мудрый, находчивый, остроумный, поэтически чувствующий кот Мурр, дай же нам по...

(*М. прод.*) ...месяцах моей юности, – я должен рассказать еще многое. В высшей степени поучительно и полезно, если великий ум в собственной своей автобиографии говорит решительно обо всем, что с ним было в юности, даже о том, что кажется ничтожной мелочью. Потому что может ли быть что-нибудь, касающееся высокого гения, мелочью? Все, что он делал или чего он не делал в детстве, имеет чрезвычайную важность и проливает яркий свет на глубокий смысл, на тайное значение его бессмертных творений. Полный душевного огня юноша, которого мучают боязливые сомнения в достаточности его дарований, возрождается духом, когда читает, что такой-то великий человек в детстве играл в солдатики, объедался конфетами и нередко получал побои в наказание за лень, грубость и проказы. «Совсем как я, совсем как я!» – восклицает восхищенный юноша и не сомневается больше, что он также великий гений, несмотря на все величие обоготворяемого им кумира.

Многие читали Плутарха или хотя бы Корнелия Непота и воображали себя героями, многие читали переводы трагедий древних поэтов, а вместе с тем драмы Кальдерона, Шекспира, Гете, Шиллера, и делались, если не великими поэтами, так по крайней мере маленькими милейшими поэтиками, столь любезными людям. Точно так же и мои произведения, наверное, зажгут светоч поэзии в груди одного юного, талантливого, чувствительного кота, и, если какой-нибудь благородный котенок возьмет с собою на крышу мою увеселительную автобиографию, если он проникнет вполне в высокие идеи книги, которая сейчас находится под моими когтями, он воскликнет тогда в восторге и воодушевлении: «Мурр, божественный Мурр! Единственный, величайший в своем роде, тебе и одному тебе обязан я всем! Только твой пример мог сделать меня великим!»

Достоин всяческой похвалы, что мейстер Абрагам в деле моего воспитания не придерживался ни забытого Базедова, ни педагогической методы Песталоцци, а предоставил мне полную свободу воспитываться, как я сам хочу; он требовал только, чтобы я держался некоторых нормальных принципов, на его взгляд, безусловно необходимых для общественной жизни, потому что иначе все бы смешалось в безумной толкотне и давке, где каждый постоянно получал бы толчки в бок и затрещины. Под нормальными принципами мейстер разумел естественную вежливость, как противоположность вежливости условной, заключающейся в том, что, когда человеку наступят на ногу или толкнут его, он должен говорить: «Простите, пожалуйста». Быть может, такая вежливость и нужна людям, но я не могу понять, для чего она может быть нужна нашему вольнолюбивому роду, и если свобода моей воли иногда нарушалась и мейстер

прибегал к фатальному березовому пруту для внушения мне нормальных принципов, так я с полным правом могу сетовать на суровость моего воспитателя. Я убежал бы от него, если бы не был прочно к нему привязан моей врожденной страстью к высшему образованию. Чем выше образование, чем выше культура, тем ограниченнее свобода; это глубокая мысль. С образованием растут потребности, с потребностями... ну, словом, как раз от немедленного удовлетворения некоторых естественных потребностей прежде всего отучил меня мейстер Абрагам своим роковым прутом, заставив удовлетворять их в определенное время и в определенном месте. Потом он принялся за мои прихоти, которые, как я позднее убедился, есть не что иное, как результат ненормального душевного состояния. Такое-то странное состояние, бывшее, может быть, действием физической стороны моего организма, побуждало меня оставлять нетронутым молоко и даже жаркое, которое давал мне мейстер, вскакивать на стол и лакомиться теми кушаньями, которые были предназначены для него самого. Познавши силу березового прута, я оставил такие проделки.

Вижу теперь, что мейстер был прав, отклоняя от них мои чувства, так как знаю, что многие из моих добрейших собратьев, будучи менее культивированы и менее благовоспитаны, чем я, попадали через это самое в ужасно неприятные положения, в положения, иногда делавшиеся горем целой жизни. Мне известно, например, что один молодой котенок, подававший большие надежды, благодаря недостатку в нравственной силе, не мог противостоять искушению полакомиться горшком молока и должен был поплатиться потерей хвоста, после чего, преследуемый насмешками и остротами, он принужден был удалиться в иночество. Итак, мейстер был прав, отучая меня от моих проделок, но я никак не могу ему простить, что он противился моему стремлению совершенствоваться в науках и искусствах.

Ничто так не привлекало моего внимания в комнате мейстера, как письменный стол, весь заваленный книгами, рукописями и разными странного вида инструментами. Могу сказать, что этот стол был для меня чем-то вроде заколдованного круга, в котором я чувствовал себя заключенным; и в то же время я испытывал перед ним какой-то священный трепет, мешавший мне всецело предаться моему порыву. Наконец, однажды – именно в отсутствие мейстера – я поборол свой страх и вскочил на стол. О, какое блаженство испытывал я, сидя на нем и роюсь среди книг и бумаг! Не шаловливость, о нет, лишь умственный жар, жажда знания, вот что заставило меня схватить в когти один из манускриптов и теревить его вдоль и поперек до тех пор, пока наконец он не лежал передо мной весь изодраный в мельчайшие клочки. Вдруг вошел мейстер, увидел все происшедшее и с оскорбительным возгласом: «Проклятая бестия!» – устремился на меня; он бил меня березовым прутом так жестоко, что я, визжа от боли, заполз под печку и целый день не выходил оттуда, невзирая ни на какие ласковые слова и увещания. Кого такое событие не отпугнуло бы навсегда даже от пути, предназначенного для него природой? Но как только я вполне оправился от своей боли, я тотчас же, следуя непобедимому внутреннему порыву, опять вскочил на письменный стол. Правда, единственного возгласа моего господина, какой-нибудь коротенькой фразы «Да он опять!» было достаточно, чтобы согнать меня со стола, прежде чем я приступил к штудированию; но я спокойно стал ждать благоприятного момента, когда бы опять можно было заняться изучением, и скоро дождался. Мейстер однажды собирался уходить из дому. Вспомнив о разорванной рукописи, он хотел выгнать меня из комнаты, но я тотчас спрятался так ловко, что он не смог меня найти. Едва только мейстер ушел, я одним прыжком вскочил на его письменный стол и лег среди рукописей, весь исполненный неизъяснимого восторга. С большим искусством я раскрыл лапкой толстую книгу, находившуюся передо мной, и попробовал разобрать в ней письменные знаки. Сперва я решительно ничего не понял, но продолжал смотреть в книгу, ожидая, что ко мне слетит какой-нибудь совсем особенный дух и научит меня читать. В этом состоянии глубокого внимания я был застигнут мейстером. С громким криком «Ах, ты, проклятое животное!» он опять устремился ко мне. Спасаться было уже поздно, я прижал уши, съежился, как только

мог, и уже чувствовал за спиной прут, но вдруг приподнятая рука мастера остановилась, он разразился громким смехом и воскликнул: «Ах, кот, да ты читаешь! Ну за это я не хочу тебя бранить. Посмотрите-ка, однако, какая у него жажда образования!»

Он вытащил из-под моих лапок книжку, посмотрел на ее заглавие и начал хохотать еще громче. «Ну, – продолжал он, – я должен допустить мысль, что у тебя есть карманная библиотечка, потому что я никак не могу понять, откуда и каким образом попала эта книга на мой письменный стол. Читай, читай, Мурр, штудируй прилежно, важнейшие места в книге ты можешь отмечать, слегка поцарапав на полях когтями, это я тебе вполне разрешаю».

С такими словами он снова подсунул мне книгу, которая, как я узнал впоследствии, была сочинением Книжке «Об обращении с людьми». Из этой прекрасной книги я почерпнул много житейской мудрости. Мысли, изложенные в ней, точно вылились из моего собственного сердца; они, вообще, ужасно пригодны для кота, желающего играть в человеческом обществе какую-нибудь роль. Именно эта тенденция книги, сколько мне известно, до сих пор ускользала от внимания читателей, и потому иногда высказывалось ложное суждение, что человек, который будет вполне сообразовываться с изложенными в книге правилами, по необходимости будет всегда тупым, бессердечным педантом.

С этих пор мастер не только терпел меня на своем письменном столе, но охотно даже видел, как я иногда во время его занятий вспрыгивал на стол и ложился среди бумаг.

Мейстер Абрагам имел привычку громко читать вслух. Я всегда располагался при этом таким образом, что мог смотреть в книгу, которую он читал; так как природа снабдила меня зоркими глазами, я мог устраивать это, не причиняя никакого беспокойства моему господину. Сравнивая слова, которые он произносил, с письменными значками, стоявшими в книге, я в короткое время научился читать; кому это покажется невероятным, тот, очевидно, не имеет никакого понятия о совершенно особенном даровании, которым меня наделила природа. А гении, меня понимающие и ценящие, не будут питать никакого сомнения относительно способа образования, который, быть может, одинаков с их собственным. Не упускаю при этом случая сообщить достопримечательное наблюдение, сделанное мною относительно приобретенного дара понимания человеческой речи. Именно я с полным сознанием наблюдал, что сам я решительно не знаю, как я достиг такого понимания. У людей замечается тот же факт; но я, впрочем, и не удивляюсь, потому что эта порода в годы детства гораздо глупее и беспомощнее нас. Даже в то время, как я был совсем маленьким котенком, со мной никогда не случалось, чтобы я царапал свои собственные глаза, хватался за горящую свечку или ел сапожную ваксу вместо вишневого пастилы, что почти всегда случается с маленькими детьми.

Когда я теперь научился хорошо читать и ежедневно набивал себя чужими мыслями, я почувствовал неудержимый порыв извлечь из неизвестности и свои собственные мысли, рожденные присущим мне гением, но прежде нужно было, конечно, научиться трудному искусству писанья. Как внимательно ни следил я за рукой моего господина, когда он писал, мне не удавалось открыть, в чем собственно заключается тут вся механика. Я штудировал старого Хильмара Кураса, единственные прописи, найденные мною у мастера; мне пришло на ум, что загадочная трудность писанья может быть уничтожена только большими манжетами, в которые одета обыкновенно пишущая рука, и что только особенная усовершенствованная ловкость позволяет моему воспитателю писать без манжет, подобно тому, как опытный канатный плясун в конце концов научается обходиться без балансирного шеста. Я страстно жаждал манжет и намеревался разорвать ночной чепчик старой экономки и приспособить его для моей правой лапки, как вдруг в один из моментов вдохновения, как бывает всегда с великими умами, меня осенила гениальная мысль, решившая все. Именно: я догадался, что моя неспособность держать перо или карандаш так, как держит мастер, с полным вероятием заключается в различном строении наших рук, – и догадка моя оправдалась. Я должен был изобрести новый способ писанья, свойственный строению моей правой лапки, – и действительно изобрел, как

и следовало ожидать. Таким-то вот образом из особой организации индивидуума проистекает создание новых систем.

Другое пренеприятное затруднение состояло в обмакивании пера в чернильницу. Именно мне никак не удавалось при обмакивании уберечь свою лапку: всегда она вместе с пером попадала в чернильницу; естественным следствием этого было то, что первые строки, более созданные самой лапкой, нежели пером, были несколько велики и широки. Люди несведущие могут потому счесть мои первые манускрипты просто-напросто бумагой, испачканной пятнами чернил. Но люди гениальные легко угадают гениального кота и в его первых произведениях, они будут удивляться, они будут совершенно вне себя от изумления при виде этой глубины, этой силы духа, брызжущего из первичного неиссякаемого источника.

Для того чтобы потомки не стали со временем спорить между собой о хронологическом порядке моих бессмертных произведений, я заявляю здесь, что прежде всего я написал философско-сентиментально-дидактический роман «Мысль и предчувствие, или Кот и Собака». Уже это одно произведение могло бы доставить мне большую репутацию. Потом, усовершенствовавшись в разных отношениях, я написал политическое сочинение под заглавием «О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и энергию в сфере кошачьего общества». Затем, вдохновившись, я написал трагедию «Крысиный король Кавдаллор». И эта трагедия также могла бы бесчисленное количество раз и при самом шумном одобрении публики играть во всевозможных театрах. Полное собрание моих сочинений должно начаться этими созданиями моего высокого ума; о том, что меня побудило их написать, будет сообщено в надлежащем месте.

Когда я научился лучше держать перо, когда лапка моя перестала пачкаться чернилами, — и стиль мой сделался более легким, изящным и грациозным; в особенности я увлекся «Альманахом муз», писал разные дружеские послания и быстро сделался тем любезным, приятным мужчиной, каким и теперь продолжаю быть. Тогда же я совсем было написал эпическую поэму в двадцати четырех песнях, но, в то время как я совсем ее кончил, случилось нечто, за что Тассо и Ариост должны в своих гробах благодарить небо. Потому что, выйди из-под моих когтей вполне законченной эта поэма, никто не стал бы читать ни того ни другого.

Я приступаю теперь к...

(Мак. л.) ...для лучшего уразумения необходимо, однако, ясно изложить тебе, благоклонный читатель, весь ход дела.

Всякий, кто хоть раз останавливался в гостинице прелестного, хотя захолустного городка Зигхартсвейлера, тотчас слышал что-нибудь о князе Иренее. Если, например, приехавший заказывал себе блюдо форелей, которые отличаются в этой местности доброкачественностью, хозяин гостиницы тотчас же говорил: «И отлично делаете, милостивый государь, что спрашиваете это блюдо! Наш светлейший князь чрезвычайно охотно ест форелей, и я приготовлю эту вкуснейшую рыбу именно так, как принято при дворе». Но образованный путешественник из всех учебников географии, карт и статистических сочинений знает только одно: городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном и окрестностями давным-давно принадлежит великому герцогству, поэтому он немало должен удивляться, что здесь есть владетельный князь и двор. Но дело вот в чем. Во владении князя Иренея, действительно, находился раньше недалеко от Зигхартсвейлера небольшой клочок земли: с бельведера замка, находящегося в княжеской резиденции, Иреней мог осматривать земли всего своего государства; понятно, что он всегда имел, так сказать, перед глазами и блага, и несчастья своих подданных. В любое время он мог знать, хорошо ли произрастает пшеница у какого-нибудь Петера в отдаленнейшем уголке его страны, мог отлично наблюдать, прилежно ли ухаживают Ганс и Кунц за своими виноградниками. Говорят, что во время одной прогулки за границу князь Иреней выронил свою страну из кармана; верно ли это — неизвестно, но несомненно, что в новых изданиях карты великого герцогства — владения князя Иренея были зарегистрированы и включены в пределы этого гер-

погства. С князя были сняты хлопоты по управлению, и из доходов его страны был сделан ему богатый выдел, который он должен был тратить именно в прелестном городке Зигхартсвейлере.

Кроме того, у князя Иренея были еще значительные наличные средства, оставшиеся в неприкосновенном виде; таким образом, князь из маленького регента сделался вдруг видным частным человеком, который свободно, без всякой помехи мог устраивать свою жизнь как ему угодно.

Князь Иреней слыл за человека образованного, с тонким вкусом к науке и к искусству. Нужно прибавить к этому, что он не раз сетовал на несносные тягости и хлопоты, связанные с регентством и, говорят, однажды выразил в изящных стихах романтическое желание вести идиллический образ жизни *procul negotiis*¹⁰, в какой-нибудь маленькой хижине над журчащим ручьем, по берегам которого расстилаются пастбища. Благодаря всем таким обстоятельствам можно было думать, что он совсем забудет о роли владетельной особы и устроится уютно и комфортабельно, как только может устроиться богатый, независимый частный человек. На самом деле все вышло совсем иначе.

Часто бывает, что любовь той или другой владетельной персоны к искусству и науке является только составной частью и декорумом придворной жизни. Приличие требует приобретать картины, слушать музыку и заставляет придворного переплетчика без устали одевать в золото и шагрень произведения новейшей литературы. Но раз придворная жизнь прекращается, естественно, и ее декорум уничтожается вместе с ней.

Князь Иреней сохранил и то и другое: и придворную жизнь, и любовь к искусствам и наукам, осуществив лучший сон своей жизни, в котором он сам фигурировал вместе со своими близкими, равно как вместе со всем городком Зигхартсвейлером.

Он устроил свою жизнь так, как будто он продолжал быть владетельным князем, сохранил полный придворный штат, государственного канцлера, совет министерства финансов, раздавал ордена, делал приемы, давал придворные балы, на которых по большей части бывало человек двенадцать – пятнадцать, но на которых этикет соблюдался гораздо строже, чем при самых больших дворах. Горожане были достаточно добродушны и охотно поддерживали честь, достоинство и весь мишурный блеск этого мнимого двора. Таким образом, например, добрейшие жители городка называли князя Иренея «ваша светлость»; в дни тезоименитства его или кого-нибудь из его семьи устраивали в городе иллюминацию, и вообще охотно жертвовали всем для удовольствия двора, подобно афинским гражданам в шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь».

Нельзя отрицать, что князь исполнял роль свою с самым внушительным пафосом и умел передавать этот пафос всем окружающим. Так, например, является как-нибудь в клуб член министерства финансов, он мрачен, молчалив, весь сосредоточен в себе. Чело его точно окутано тучами, нередко он погружается в глубокую задумчивость, потом вздрагивает и выпрямляется, как будто пробуждаясь от сна. К нему еле решаются подходить, в его присутствии не осмеливаются громко говорить. Бьет девять часов, он вскакивает со своего стула, берет шляпу, и тщетны старания всех удержать его: с гордой, многозначительной улыбкой он уверяет, что его ждут кипы бумаг, что ему придется просидеть всю ночь для того, чтобы подготовиться к завтрашнему чрезвычайно важному последнему четвертому заседанию Совета; поспешно удаляясь, он оставляет все общество в почтительном, немом изумлении пред безмерной важностью и трудностью его деятельности. А что же это за важный доклад, к которому несчастный труженик должен приготовиться за ночь? Он должен составить список белья, отдававшегося в стирку во всем департаменте за истекшую четверть года, подававшихся кушаний, сшитых заново платьев и тому подобное; соединив все это в целый доклад, он прочтет его в комиссии по вопросу о стирке белья.

¹⁰ «Удалившись от дел»(лат.).

Точно так же весь город жалеет, например, беднягу-вагенмейстера, наказанного княжеской коллегией, но в то же время каждый охвачен и подавлен возвышенным пафосом коллегии и восклицает: «Строго, но справедливо!» Дело в том, что вагенмейстер, сообразно с полученной инструкцией, продал коляску, негодную для употребления, и министерская коллегия предписала ему в течение трехдневного срока выяснить, под страхом немедленной отставки, куда он девал другую, непроданную, половину коляски, быть может, еще пригодную к употреблению.

Особым светилом, сиявшим при дворе князя Иренея, была советница Бенцон, вдова лет за тридцать с лишком, но красоты увлекательной и все еще не лишенная грации, – единственная особа, дворянство которой было сомнительно и которую, однако, князь раз и навсегда приблизил ко двору. Светлый, проницательный ум советницы, ее придворная живость, ее светский такт, а главным образом, известное хладнокровие, необходимое для господства над собственным талантом, имели полную, неотразимую власть над всеми, так что именно она была главной двигательной пружиной в кукольном театре этого миниатюрного двора. Дочь ее, Юлия, выросла вместе с принцессой Гедвигой. И даже на умственное развитие этой последней советница повлияла в такой степени, что она была как бы чужой в кругу княжеской фамилии и не имела совершенно ничего общего с своим братом. Принц Игнац был, в противоположность сестре, как бы осужден на вечное детство и почти заслуживал названия тупоумного.

Наряду с госпожой Бенцон, таким же влиянием, таким же полным проникновением в самые деликатные отношения княжеской семьи обладал – хотя совсем в другом смысле – тот странный человек, которого ты, благосклонный читатель, уже видел как *maître de plaisir*¹¹ княжеского двора и как полного иронии чародея.

Крайне достопримечательна история вступления мастера Абрагама в княжескую фамилию.

Блаженной памяти папаша князя Иренея был человек простой и кроткий. Он увидел, что малейшее проявление жизненных сил должно совсем разрушить слабый организм государственной машины, вместо того чтобы побудить ее к лучшему действию. Руководствуясь этим, он оставил положение дел страны в прежнем порядке, и, если у него не было случая выказать блестящий ум или другие какие-нибудь дары Неба, он ограничился, по крайней мере, тем, что в его княжестве каждый чувствовал себя хорошо, а что касается сношений с другими государствами, так в этом случае его страна напоминала женщину: чем меньше про нее говорят, тем свободнее она от недостатков. Если маленький двор князя отличался чопорностью и церемонностью, если князь совсем не мог свыкнуться с некоторыми вполне лояльными идеями, выработанными новым временем, вина этого заключалась в обер-гофмейстере, гофмаршалах и камергерах, которые всеми силами старались сохранить невозмутимость стоячей воды. Но было одно обстоятельство, с которым не могли бороться никакой гофмейстер, никакой маршал, – именно прирожденная склонность князя ко всему загадочному, странному, необычайному.

По примеру калифа Гарун аль-Рашида он имел иногда обыкновение переодетым обходить город и деревни, чтобы дать удовлетворение или хоть некоторую пищу этой склонности, находившейся в странном противоречии с другими его тенденциями. Он надевал в таких случаях круглую шляпу и серое пальто, так что каждый с первого взгляда видел, что князя теперь не нужно узнавать.

Случилось однажды, что переодетый таким образом князь, пройдя неузнанным всю аллею, ведущую от замка к одной из отдаленнейших местностей, дошел до уединенного домика, в котором жила вдова главного княжеского повара. Как раз перед самым домиком князь увидел двоих незнакомцев, закутанных в плащи и спешивших к выходу. Он прошел в

¹¹ Устроитель празднеств (*фр.*).

сторону, и историограф княжеской фамилии, у которого я заимствую этот факт, утверждает, что князь был бы неузнан и незамечен даже в том случае, если бы он вместо серого пальто надел самое блестящее форменное платье, украшенное искрящимися орденами, – по той простой причине, что тогда был совершенно темный вечер. Когда оба незнакомца, закутанные в плащи, медленно проходили мимо князя, он вполне явственно услышал следующий разговор. Один сказал: «Прошу тебя, сиятельный братец, смотри хорошенько, чтобы не быть на этот раз ослом! Вы должны с ним покончить, прежде чем князь успеет узнать от него что-нибудь, потому что иначе проклятый колдун насядет нам на шею и совсем погубит нас своими сатанинскими чарами». Другой ответил: «*Mon cher frère*¹², не волнуйся так, не горячись, ты знаешь мою *sagacité*, мою *savoir faire*¹³. Я завтра разделаюсь с ним по-своему, и пусть тогда он показывает где хочет свои экспонаты... Здесь, во всяком случае, он оставаться не может. Князь, кроме того, порядо...» Голоса замолкли, и князь не мог узнать, чем считает его собственный гофмаршал, так как никто иной, а именно гофмаршал и брат его, обер-егермейстер, были этими лицами, вышедшими из дома и разговаривавшими так странно и загадочно.

Князь узнал их обоих по голосу. Легко представить себе, что князю пришло самое естественное желание отыскать этого опасного колдуна, от знакомства с которым хотели его предохранить. Он постучался в дверь домика, вдова вышла на порог, держа в руках свечу, и, увидав круглую шляпу и серое пальто князя, спросила с холодной вежливостью:

– Что вам угодно, *monsieur*?¹⁴

Когда князь подходил к кому-нибудь переодетый и неузнаваемый, ему всегда говорили *monsieur*.

Князь осведомился о чужестранце, который должен был находиться у вдовы; он оказался не кем иным, как чрезвычайно сведущим, ловким, знаменитым фокусником, снабженным целой кучей аттестатов, грамот и привилегий и желающим познакомить местную публику со своими чарами.

– Только что здесь были, – рассказывала вдова, – два придворных господина. Он им показывал какие-то необъяснимые вещи, которые привели их в такое изумление, что они ушли отсюда смущенные, бледные, совершенно вне себя.

Недолго думая, князь велел провести себя к нему. Мейстер Абрагам (а это был именно он) принял его как человека, которого он уже давно ждал, и, как только князь вошел, тотчас же затворил за ним дверь.

Никто не знает, какие фокусы показывал князю Иренею мейстер Абрагам, известно только одно: князь пробыл с ним целую ночь, а на другое утро в замке были приготовлены комнаты, которые занял мейстер Абрагам и в которые князь посредством потаенного хода мог незамеченным проникать из своего кабинета. Известно также еще, что отныне князь не называл уже больше гофмаршала *mon cher ami*¹⁵ и никогда больше не заставлял обер-егермейстера рассказывать волшебную охотничью историю о белом рогатом зайце, которого он (обер-егермейстер) не мог застрелить во время первой своей охотничьей экскурсии в лесу. Это обстоятельство повергло обоих братьев в печаль и отчаяние и в скором времени вынудило их оставить двор. Известно, наконец, и то, что мейстер Абрагам стал приводить в изумление двор, город и сельских жителей не только своими фантазмагориями, но также и тем уважением, которое он все более и более внушал князю.

О фокусах мейстера Абрагама упомянутый историограф княжеской фамилии рассказывает столько невероятных вещей, что нет возможности все их передать, не оскорбляя доверия

¹² Мой дорогой брат (*фр.*).

¹³ Мою мудрость, мою ловкость (*фр.*).

¹⁴ Сударь (*фр.*).

¹⁵ Мой милый друг (*фр.*).

благосклонного читателя. Самым удивительным фокусом, который, по мнению историографа, достаточно ясно доказывает очевидную и преступную связь мастера Абрагама с невидимыми темными силами, является акустическая трагедия, позднее обратившая на себя большое внимание и сделавшаяся известной под названием «Невидимой девицы». Фокус этот уже в то время не раз был показываем мастером Абрагамом с таким богатством фантазии, загадочности и захватывающего интереса, с каким его больше никогда никто не показывал.

Наряду со всем этим поговаривали, что и сам князь, вкупе с мастером Абрагамом, стал предпринимать различные магические операции относительно их цели между придворными дамами, камергерами и другими лицами, причастными ко двору, возник приятный спор, исполненный самых нелепых, бессмысленных догадок. Все, впрочем, были согласны в одном: мастер Абрагам научил князя готовить золото, о чем можно было судить по дыму, проникавшему иногда из лаборатории, и что он ввел его во всяческие необходимые для подобных целей конференции духов. Далее, все были твердо убеждены, что теперь князь, прежде чем выдавать патент новому бургомистру местечка или назначать прибавку жалованья придворному истопнику, стал всегда советоваться с созвездиями или с демоном Агатом, который со спиритами обходится запросто.

Когда старый князь скончался и ему наследовал Иреней, мастер Абрагам покинул страну. Молодой князь, совсем лишенный отцовской склонности к чудесному и загадочному, не удерживал его; однако вскоре нашел, что магическая власть мастера Абрагама заключается главным образом в его умении заклинать некоего злого духа, который крайне охотно поселяется при всех маленьких дворах, именно адского духа – скуки. Кроме того, уважение, каким пользовался мастер Абрагам у старого князя, пустило глубокие корни в душе Иренея. Бывали минуты, когда молодому князю казалось, что мастер Абрагам – какое-то неземное существо, высоко стоящее надо всем, что считается исключительным в человеческом смысле слова. Говорят, что такое совсем особенное ощущение было следствием некоторого критического незабвенного момента в юношеской истории князя. Раз, будучи еще мальчиком, он с назойливым ребяческим любопытством проник в комнату мастера Абрагама и весьма нелепым образом разломал одну маленькую машину, которую мастер только что окончил с большими хлопотами и необычайным искусством; мастер в страшном гневе на неловкость глупого князька дал ему увесистую пощечину и потом тотчас же с некоторой не вполне ласкательной поспешностью вывел его из своей комнаты в коридор. Молодой князь, заливаясь слезами, мог только с трудом промямлить: «Abraham... soufflet...»¹⁶ Обескураженный обер-гофмейстер подумал, что это было наказание за дерзкую попытку проникнуть в страшную тайну, которую он мог только подозревать.

Князь Иреней теперь живо чувствовал потребность иметь при себе мастера Абрагама, как одухотворяющее начало в механизме придворной жизни, но все усилия вернуть его назад были напрасны. И только после роковой прогулки, когда князь Иреней потерял свои владения, когда он устроил в Зигхартсвейлере свой химерический двор, мастер Абрагам снова вернулся и не мог выбрать для возвращения более подходящего времени. Потому что, кроме всего другого...

(*М. прод.*) ...рассказу о достопримечательном событии, которое, выражаясь обычным слогом остроумных биографов, открывает новую эпоху моей жизни.

Читатели! Вы, о юноши, мужчины и женщины, под чьей шерстью бьется чувствительное сердце, чья душа склонна к добродетели, чей ум познает сладостные узы, соединяющие нас с природой, вы поймете меня и полюбите.

Солнце жгло, целый день я проспал под печкой. Но вот надвинулись сумерки и свежий ветер с шепотом проник через открытое окно в комнату моего воспитателя. Я пробудился от

¹⁶ «Абрагам... пощечина...» (*фр.*)

сна, грудь моя расширилась, вся охваченная невыразимым, странным ощущением, и сладким, и мучительным, соединенным с нежнейшими предчувствиями. Под наплывом этих предчувствий я выпрямился и сделал то самое многозначительное движение, которое равнодушный человек в холодности своей обозначает словами «выгнуть спину». Прочь отсюда – на волю влекло меня, к свободной природе, – я удалился на крышу и бродил там в лучах заходящего солнца. Вдруг услышал я звуки – они неслись с чердака, – такие нежные, тихие, родные, обволаживающие; какое-то незнакомое чувство с непобедимой силой повлекло меня вниз. Покинув красоты природы, я через узкое слуховое окно прополз на чердак. Как только спрыгнул я вниз, заметил тотчас же большую, прекрасную кошку, покрытую белыми и черными пятнами. Она сидела на задних лапках в позе весьма комфортабельной и испускала соблазнительные меня звуки, и смотрела на меня пронизательным, пристальным взглядом. Во мгновение ока я сел против нее и, уступая внутреннему порыву, попытался запеть в унисон с пятнистой красавицей. Должен сознаться, что это удалось мне необычайно. Именно с этого момента (делаю данное замечание для психологов, занятых изучением моей жизни и моих произведений) начинается во мне вера в мой природный музыкальный талант, а вместе с верой появляется естественно и самый талант. Пятнистая певунья посмотрела на меня пристальнее и внимательнее, вдруг замолчала и, сделав гигантский прыжок, подскочила ко мне. Не ожидая ничего хорошего, я выпустил свои когти, но в то же самое мгновение пятнистая дама воскликнула, роняя из глаз серебристые слезы:

– Сын мой, о, сын мой! Приди, поспеши в мои лапы!

И потом, обнимая меня, с теплым чувством прижимая меня к груди своей, продолжала:

– Это ты, ты мой сын, мой добрый сын, которого я родила без особенных мук!..

Я почувствовал себя потрясенным до глубины души, и уже это одно должно было убедить меня, что я действительно вижу перед собой родную мать; тем не менее я все-таки спросил, уверена ли также и она, что это вполне несомненно.

– Еще бы, это сходство! – воскликнула она. – Эти глаза, это выражение лица, эта борода, этот мех – все, все напоминает мне слишком живо неблагодарного изменника, который бросил меня. Ты вылитый портрет твоего отца, милый Мурр (ведь ты именно так зовешься); я, однако, надеюсь, что с красотой отца ты соединил нежные помыслы и кроткий характер матери Мины. У отца твоего был весьма внушительный вид: его важный высокий лоб производил импонирующее впечатление, в зеленых глазах светился живой ум, а на щеках играла приятная улыбка. Эти физические преимущества вместе с его остроумием и известной любезной легкостью, с которой он ловил мышей, покорили мое сердце. Но скоро выказался его жестокий тиранический характер, который он так долго, так искусно скрывал. Я с ужасом говорю это! Едва только ты родился, как твоему отцу пришло нечестивое желание съесть тебя вместе с твоими братьями и сестрами.

– Любезная мамаша, – прервал я рассказ пятнистой дамы, – не осуждайте так всецело это желание. Образованнейший в свете народ приписывает самим богам этот неизъяснимый аппетит к пожиранию собственных детей. Но Юпитер был спасен, а также и я!

– Я тебя не понимаю, сын мой, – возразила Мина. – Но кажется мне, что ты как будто говоришь совершенный вздор или хочешь защищать твоего отца. Не будь неблагодарным! Ты, наверное, был бы задушен и съеден кровожадным тираном, если бы я с отвагой не защищала тебя этими острыми когтями, если бы не спасла тебя от преследований противоестественного варвара, с быстротой стрелы убегая то туда, то сюда: в подвал, на чердак и в конюшни. Он оставил меня, наконец! С тех пор я его никогда не видала! Но все еще бьется любовь к нему в сердце моем! Это был прекраснейший кот! Благодаря его тонким манерам, его важной осанке, многие принимали его за путешествующего графа.

Я уже решила вести спокойную тихую жизнь, ограничив свои интересы домашней сферой материнских обязанностей, но меня должен был поразить еще страшнейший удар. Когда я

однажды вернулась с прогулки домой, от тебя и от братьев твоих и сестер и следа не осталось. За день перед этим одна старая женщина открыла меня в моем убежище, и я слышала, как она говорила какие-то загадочные слова о том, что кого-то нужно бросить в воду. Ну, слава богу, ты спасен, сын мой. Прижмись еще раз к груди моей, о возлюбленный!

Пятнистая мамаша ласкала меня с сердечной нежностью и расспрашивала о подробностях моей жизни. Я все рассказал ей, не забыв упомянуть при этом о моем высоком образовании и о том, как я достиг своего развития.

Мина казалась менее тронутой редкостными качествами сына, чем этого можно было ожидать. Она даже вполне недвусмысленно дала мне понять, что я со всем моим необычайным гением и моими глубокими научными познаниями попал на ложный путь, который может привести меня к дурным результатам. А в особенности она предостерегала меня не открывать приобретенных мною знаний мейстеру Абрагаму, потому что он только будет эксплуатировать меня и держать в самом стеснительном рабстве.

– Сама я, – проговорила Мина, – не могу похвастаться образованием, подобным твоему, между тем у меня отнюдь нет недостатка в природных способностях и приятных талантах. В числе этих последних я должна, например, назвать прирожденное мое уменье испускать из своего меха яркие искры, когда меня гладят. И сколько же неприятностей доставил мне этот один талант! Дети и взрослые беспрестанно шаркают по моей спине, для того чтобы – на муку мне – производить такой фейерверк; если же я с неудовольствием отпрыгиваю в сторону или показываю когти, меня называют диким животным, а иногда даже бьют. Подобно этому, как только мейстер Абрагам узнает, что ты можешь писать, он тебя сделает своим переписчиком, и ты будешь по принуждению делать то, что теперь делаешь по доброй воле и для собственного удовольствия.

Мина говорила еще многое о моем образовании и об отношении к мейстеру Абрагаму. Только впоследствии я узнал, что все, что я считал за отвращение к наукам, было на самом деле истинной житейской мудростью, которую пятнистая дама носила в себе.

Я узнал, что Мина, живя у соседки-старухи, находится в стеснительных обстоятельствах и нередко не знает, чем удовлетворить чувство голода. Это глубоко меня тронуло, сыновняя любовь с полной силой проснулась в груди моей, я вспомнил о прелестной селедочной головке, оставшейся после вчерашнего ужина, и решил принести ее столь внезапно обретенной родительнице.

Кто может измерить все непостоянство, всю изменчивость сердец тех существ, которые бродят под луной! Зачем судьба не возбранила гибельным страстям проникать в нашу грудь! Зачем мы, как непрочный, колеблющийся тростник, склоняемся под бурей жизни? Враждебный рок! О, аппетит, имя твое есть кот! С головкой селедки во рту вскарабкался я на крышу, как некий *pius Aeneas*¹⁷, и хотел проникнуть на чердак! Вдруг впал я в душевное состояние, которое, странным образом отчуждая мое «я» от моего «я», мне казалось, однако же, моим собственным «я». Полагаю, что я выражаюсь достаточно вразумительно и глубокомысленно, так что в этом изображении моего странного состояния каждый узнает психолога, проникающего в самую глубь души. Продолжаю рассказ!

Удивительное чувство, сотканное из страсти и муки, омрачило мое сознание, овладело мной, сопротивляться больше было невозможно – я пожрал головку селедки!

Я слышал, как Мина боязливо мяукала, боязливо называла мое имя. Полный раскаяния и стыда, я спрыгнул назад в комнату мейстера и забился под печку. Меня терзали мучительные представления. Я видел Мину, вновь обретенную мать, покрытую пятнышками, видел ее безутешную, покинутую, близкую к обмороку, страстно предвкушающую кушанье, которое я ей обещал. Что это? Бушующий ветер ворвался в дымовую трубу и произнес имя Мины. «Мина,

¹⁷ Благочестивый Эней(лат.).

Мина», – зашелестело в бумагах моего господина. «Мина», – проговорил с треском полуизломанный стул, а заслонка от печки жалобно повторила: «Мина». О, какое горькое, томительное чувство разрывало мое сердце! Я решил, где только возможно, пошарить насчет молочка. Точно прохладная, благодетельная тень, эта мысль распространила в душе моей глубокий мир. Я насторожил уши и заснул.

Вы, чувствительные души, вполне меня понимающие, увидите, если только вы не ослы, а настоящие честные коты, вы увидите, говорю я, что эта буря, взволновавшая грудь мою, должна была прояснить горизонт моей юности, подобно тому, как благодетельный ураган разгоняет мрачные тучи и очищает воздух. Как ни мучительно тяготела сначала над моей душой голова селедки, однако я познал, что есть аппетит, познал также, что преступно противиться матери-природе. Пусть каждый отыскивает свои селедочные головки и не вмешивает в предусмотрительность и мудрость других, ибо они, руководимые правильным аппетитом, непременно сами найдут свое.

Так закончился эпизод моей жизни, убедивший...

(Мак. л.) ...ничего не может быть досаднее для историографа или биографа, если ему приходится перескакивать с одного предмета на другой, точно предаваться бешеной скачке на диком жеребце, мчаться через рвы и овраги, через поля и луга, постоянно стремясь к торной дороге и никогда не будучи в состоянии найти ее. Совершенно такая вещь случается с тем, кто возьмет на себя труд описать для тебя, любезный читатель, необычайные события из жизни капельмейстера Иоганна Крейслера. Охотно бы начал он так: Иоганн Крейслер увидел впервые свет в маленьком городке Н., или Б., или К., именно в понедельник, в праздник Троицы или на Пасхе такого-то года.

Но, увы, такой превосходный хронологический порядок не может быть соблюден в данном случае, потому что в распоряжении злополучного повествователя находятся только отрывочные сведения, переданные ему изустно; чтобы не утратить их из памяти, он должен был тотчас по получении поскорее занести их на бумагу. Как именно были получены все излагаемые сведения, об этом ты, достопочтенный читатель, узнаешь еще до конца книги, и тогда, может быть, извинишь рапсодический характер изложения, а может быть, даже найдешь, что, несмотря на внешний вид разорванности, между отдельными частями проходит одна и та же нить.

В данный момент нужно сообщить только, что, немного спустя после того, как князь Иреней поселился в Зигхартсвейлере, в один прекрасный летний вечер принцесса Гедвига гуляла вместе с Юлией в прелестном придворном парке. Над лесом, как золотистый покров, лежал свет заходящего солнца. В безмолвии вечера не шелестел ни один листок. Кусты и деревья в молчаливом предчувствии ждали, чтобы к ним прильнул ночной ветер со своими ласками. Только ропот лесного ручья, бегущего с камня на камень, нарушал беспредельный покой. Взвзвываясь за руки, девушки молча бродили по дорожкам между куртин, через мосты, проведенные в разных местах над извилистым, светлым ручьем, пока наконец не достигли лежащего на самом краю парка большого озера, в котором отражался далекий Гейерштейн с своими живописными руинами.

– Как хорошо! – воскликнула от всего сердца Юлия.

– Пойдем в рыбачий домик, – проговорила Гедвига. – Солнце ужасно жжет, к тому же оттуда, из среднего окна, вид на Гейерштейн еще прекраснее, чем здесь: там вся местность является не панорамой, а группой, совсем как в действительности.

Юлия последовала за принцессой, которая, как только вошла и посмотрела из окна, пожелала иметь карандаш и бумагу, чтобы нарисовать вид в вечернем, «пикантном» – по ее словам – освещении.

– Я готова почти завидовать тебе, – проговорила Юлия. – Ты так искусно, с таким совершенством умеешь рисовать виды природы: деревья, кусты, горы и озера. Но я знаю, что, если

бы я умела рисовать так же хорошо, как ты, мне все-таки никогда бы не удалось вполне скопировать природу, и тем менее, чем прекраснее ландшафт. От восторга и радости созерцания я не могла бы приняться за работу.

При этих словах Юлии лицо принцессы озарилось улыбкой, которая у шестнадцатилетней девушки может назваться опасной. Мейстер Абрагам, выразившийся иногда несколько странно, говорил, что такую игру лицевых мускулов можно сравнить с волнением на поверхности воды, начинающимся всегда, если из глубины поднимается что-нибудь грозное. Словом, принцесса Гедвига улыбалась. Но в то время, как она открыла свои губы, подобные лепесткам розы, с целью возразить нежной и несведущей в искусстве Юлии, совсем вблизи раздалась аккорды, такие дикие и сильные, что вряд ли они могли происходить от простой гитары.

Принцесса умолкла, и обе девушки поспешили из домика.

Одна мелодия лилась за другой с самыми странными, необычайными переходами. К музыке примешивался звучный мужской голос, который то выражал всю сладость итальянского пения, то, мгновенно обрываясь, переходил к серьезным, мрачным мелодиям, то резко оттенял отдельные слова, произнося их речитативом.

Потом, умолкая, певец настраивал гитару, снова лились аккорды, потом опять перерыв, потом гневно произнесенные слова, опять мелодия, опять перерыв.

Сгорая от любопытства увидеть волшебного виртуоза, Гедвига и Юлия подходили все ближе и ближе, наконец, они заметили мужчину, одетого в черное. Обратившись к ним спиной, он сидел на обломке скалы у самого озера и продолжал свою дивную игру, перемешанную с пением и разговорами.

Когда девушки подошли вплоть, он как раз настроил гитару на новый совсем особенный лад и брал отрывистые аккорды, выкрикивая при этом: «Опять неудача: звучности нет, комма низка, комма высока!»

Потом он схватил обеими руками инструмент, высвободил его от голубой ленты, на которой он висел через плечо, и, держа его перед собой, начал говорить:

– Скажи мне, капризная ты штука, где же собственно покоится твоя гармония, в какой уголок твоей души скрылась полная, благозвучная гамма? Или ты хочешь возмутиться против твоего маэстро и утверждать, что слух его притупился среди равномерной температуры и звуки, извлекаемые им, лишь детская причудливая игра? Ты, пожалуй, смеешься надо мной, забывая, что борода у меня подстрижена гораздо лучше, чем у маэстро Стефано Пачини, «*detto il Venetiano*»¹⁸, который вложил в тебя гармонию, остающуюся для меня непостижимой тайной. Ну, любезная моя, ты должна доставить мне исполненный унисона дуализм нот соль-диез и ля-бемоль, или до-диез и ре-бемоль, если же ты этого не сделаешь или не захочешь дать полной гармонии звуков, я тебя отправлю на выучку к новым немецким мейстерам, они тебя разругают и вышколят совсем негармоничными словами. И ты лишена возможности броситься в объятия своему Стефано Пачини, ты не можешь, наподобие ворчливой женщины, удержать за собой последнее слово. Или, может быть, ты достаточно нагла и дерзка, чтобы думать, что дивные духи, живущие в тебе, подчиняются только мощной власти магических чар, давно исчезнувших с лица земли; ты думаешь, что в руках подобного бездельника...

При последних словах музыкант вскочил со своего места и, как бы погруженный в глубокую задумчивость, устремил взор на озеро. Девушки, пораженные всем, что увидели, стояли за кустом, точно прикованные к земле, еле осмеливаясь дышать.

– Гитара, – прервал наконец музыкант свое молчание, – самый жалкий, несовершенный инструмент! Она годится только для воркующих, больных от любви пастушков, которые потеряли дульце своей свирели, потому что иначе они предпочли бы играть на ней что есть силы, будить эхо альпийской песней, тревожить далекие горы скорбной жалобой и сзывать

¹⁸ Именуемый венецианцем (*ит.*).

пасущийся скот веселым хлопаньем бичей. Боже, Боже! Научи пастухов, «плачевною песней скорбящих по милой невесте своей», научи их, что тройное созвучие состоит не из чего иного, как из трех звуков, и дай им гитару в руки. Но людям серьезным, с порядочным образованием, с превосходной эрудицией, занимавшимся греческой философией и прекрасно знающим, что делается при дворе в Пекине или в Нанкине, хотя ни черта не понимающим в пастушеской жизни и скотоводстве, – к чему им эти сладкие вздохи, это брэнчанье? Бездельник, чем ты занимаешься? Вспомни о покойном Гиппеле! Он уверял, что, если он видит, как кто-нибудь дает уроки игры на клавинодах, ему кажется, будто такой учитель музыки лакомится яйцами всмятку... А ты брэнчишь на гитаре! Бездельник! Как тебе не стыдно!

С этими словами незнакомец швырнул свой инструмент в куст, далеко от себя, и поспешно удалился, совсем не заметив присутствия девушек.

– Ну, – воскликнула со смехом Юлия, – что скажешь ты, Гедвига, об этом волшебном явлении? Откуда мог прийти сюда загадочный человек, который умеет так мило беседовать со своим инструментом и потом презрительно бросает его прочь, точно изломанную коробку?

Лицо Гедвиги все вспыхнуло и она проговорила, точно под влиянием сильного гнева:

– Зачем вход в парк не заперт! Каждый пришелец может войти сюда!

– Как, – возразила Юлия, – ты хотела бы, чтоб князь эгоистично лишил возможности любоваться лучшим видом всей местности жителей Зигхартсвейлера и даже всякого, кто только случайно забредет сюда? Не может быть, чтобы это было твое серьезное желание!

– Но ты забываешь, – продолжала принцесса с еще большим оживлением, какая опасность может нам угрожать! Мы часто гуляем здесь совершенно одни, вдали от кого-либо из прислуги, в самых уединенных лесных уголках. Что если какой-нибудь злодей...

– Вот что! – прервала Юлия принцессу. – Мне думается, ты боишься, что из-за какого-нибудь куста выскочит дикий сказочный великан или легендарный рыцарь-разбойник, который похитит нас и увезет в свой замок! Да сохранит тебя Небо! Что касается меня, я должна тебе признаться: маленькое приключение в романтическом лесном уединении представляется мне вполне прелестным и поэтическим. Я вспоминаю шекспировскую комедию «Как вам будет угодно», которую мать так долго не давала нам в руки и которую наконец прочел нам Лотарио. Ты, пожалуй, могла бы быть Селией, а я хотела бы сделаться твоей верной Розалиндой. Чем был бы в таком случае наш неведомый виртуоз?

– Знаешь ли, Юлия, – возразила принцесса, – этот незнакомец своей фигурой, своими странными речами возбудил во мне какой-то непонятный ужас. Это что-то странное, непостижимое. В уме моем точно встает какое-то далекое, смутное воспоминание, встает и никак не может принять определенных очертаний. Мне чудится, что я уже видела когда-то этого странного человека, он был запутан в какое-то страшное событие, разрывавшее мое сердце на части... быть может, это не больше, как кошмар, воспоминание о котором запечатлелось в моей душе. Но будет об этом... Я хочу только сказать, что странный незнакомец, со своими непонятными речами и заклинаниями, показался мне привидением, грозящим заманить нас в какой-нибудь заколдованный волшебный круг.

– Фантазия! – воскликнула Юлия. – Я с своей стороны превращаю черную фигуру с гитарой в руках в monsieur Жака, или, пожалуй, в честного Пробштейна, ведь его философия почти сходится с удивительными речами незнакомца. Однако теперь прежде всего нужно спасти бедную крошку, которую варвар так жестоко швырнул в куст...

– Юлия... что ты хочешь... ради бога! – воскликнула принцесса.

Но Юлия, не обращая на нее внимания, проскользнула в чашу и через несколько мгновений вернулась назад, с триумфом держа в руках брошенную незнакомцем гитару.

Принцесса поборолла свой страх и с большим любопытством начала рассматривать инструмент, странные формы которого свидетельствовали об его древнем происхождении; об

этом же гласила и надпись, вытравленная черными буквами внутри гитары и явственно видневшаяся через круглое отверстие: «Stefano Pacini fec. Venet. 1532»¹⁹.

Юлия не могла удержаться, ударила по струнам причудливого инструмента и невольно вздрогнула, услышав мощный звучный аккорд.

– Прекрасно, чудесно! – воскликнула она и начала играть.

Но так как она обыкновенно сопровождала свое пение аккомпанементом гитары, невольно из уст ее полились звуки, в то время как сама она тихонько пошла вперед. Принцесса молча последовала за ней. Юлия остановилась.

– Пой, – проговорила Гедвига, – играй на этом дивном инструменте, быть может, тебе удастся удалить в Оркус злых, враждебных духов, вознамерившихся овладеть мной.

– Что ты все говоришь о злых духах! – возразила Юлия. – Они навсегда останутся далекими от нас, но я буду и петь, и играть, потому что не думала до сих пор никогда, чтобы мне мог попасть в руки такой инструмент и мог так понравиться. Мне кажется, что голос мой стал гораздо звучнее при таком аккомпанементе.

Она запела одну из распространенных итальянских канцон, давая полный простор своему богатому голосу, всю душу вкладывая в эти чудные переходы, прихотливые обороты, смелые каприччо. Если принцесса была напугана незнакомцем, Юлия превратилась в настоящую статую, когда, желая повернуть в другую аллею, она вдруг увидела его перед собой.

Незнакомец – мужчина лет тридцати – был одет по последней моде, весь в черном. Во всех его манерах не было ничего особенного, необычного и тем не менее наружность его отличалась чем-то странным, оригинальным.

Несмотря на чистоту платья, в костюме была видна какая-то небрежность, происходившая, по-видимому, не от недостатка в тщательности, а скорее оттого, что незнакомец вынужден был совершить путь, на который он не рассчитывал и к которому костюм не подходил. Жилет был кое-где разорван, галстук повязан слегка, башмаки сильно запылены, так что золотые их пряжки были еле видны; поля треуголки, назначенной лишь для того, чтобы ее носить под мышкой, были опущены вниз с очевидной целью предохранить лицо от солнца, это имело довольно потешный вид. Должно быть, он пробрался через самую густую чащу парка, так как в его черных спутанных волосах виднелись еловые колючки. Мельком посмотрев на принцессу, он остановил на Юлии глубокий, огненный взор своих больших, темных глаз – обстоятельство, повергшее ее в еще большее смущение, так что у нее на глазах, как всегда бывает в подобных случаях, выступили слезы.

– Не при виде ли меня, – проговорил, наконец чужестранец, мягким, приятным голосом, – замолкают эти небесные звуки и превращаются в слезы?

Принцесса, сильным напряжением воли победив первое впечатление, которое произвел на нее незнакомец, гордо взглянула на него и ответила сурово, почти резко:

– Во всяком случае, ваше неожиданное появление не могло не удивить нас, милостивый государь! В такие часы в княжеском парке обыкновенно никого не бывает из посторонних. Я принцесса Гедвига.

При первых же словах принцессы незнакомец быстро повернулся к ней и посмотрел на нее пристально и прямо. Все лицо его совершенно преобразилось. Выражение тихой тоски, глубокого внутреннего волнения уступило место насмешливой, полной сарказма улыбке, выражавшей самую злую иронию.

Принцесса, точно пораженная электрическим ударом, умолкла на полуслове, вспыхнула и опустила глаза.

Незнакомец, казалось, хотел что-то сказать, но в это самое мгновение начала Юлия:

¹⁹ Стефано Пачини, сдел. в Венец. 1532(лат.).

– Какая я, право, глупая, что испугалась и расплакалась, как ребенок, пойманный в ту минуту, когда он лакомится. Да, милостивый государь, я лакомилась – в виде лакомства я похитила несколько чудных звуков из вашей гитары. Во всем виновата она и наше любопытство! Мы слышали, как вы славно разговаривали с этой малюткой, видели также, как вы в сильном гневе бросили бедняжку в куст, так что она жалобно застонала. Я была тронута до глубины сердца, поспешила в чашу и подняла милый, прекрасный инструмент. Вы сами знаете, как девушки любопытны: я задела за струны, они запели, и я не могла удержаться, руки сами начали играть. Простите меня, милостивый государь, и возьмите назад инструмент.

Юлия протянула гитару незнакомцу.

– Это чрезвычайно редкий, благозвучный инструмент, – сказал незнакомец. – Он очень древнего происхождения, и лишь в моих неопытных руках... Но что руки, что руки! Дивный гений гармонии, столь знакомый этой странной маленькой вещи, живет также и во мне, живет в моей груди, только в виде куколки, которая не может никак превратиться в резвого мотылька. Но из вашей души, фрейлейн, гармония льется в светлых звуках, рвущихся к ясному небу, переливающихся в тысяче красок и переходов, подобно ярким крыльям павлиньего ока. Вы пели, и страстная мука любви, дивные чары таинственных снов, надежда, желание как волны промчались среди спящего леса, чтоб пасть серебристой росой на чашечки нежных цветов, на влюбленную грудь соловьев, невольно умолкших. Прошу вас, возьмите себе инструмент, лишь вы способны так властно извлечь из него всю негу, живущую в нем.

– Но ведь вы бросили инструмент, – возразила Юлия, вся вспыхнув.

– Это верно, – сказал незнакомец, порывисто схватывая гитару и прижимая к сердцу. – Я бросил ее и принял назад освященной, никогда больше я не выпущу ее из рук своих.

Вдруг лицо незнакомца опять приняло насмешливое, ироническое выражение, и он заговорил громким, резким голосом:

– Собственно говоря, судьба или мой злой демон сыграли со мной презлую шутку, заставив меня появиться перед вами, высокоуважаемые дамы, совершенно *ex abrupto*²⁰, как говорят латинисты, а также другие почтенные люди. Боже мой, рискните, милостивейшая принцесса, окинуть меня взором с ног до головы. Вы увидите, что, судя по костюму, я отправляюсь на важный визит. Вот видите ли, я думал проехать в Зигхартсвейлер и оставить в этом славном городе если не собственную персону, то хоть свою визитную карточку. Но, быть может, вы думаете, что у меня нет связей, милостивейшая моя принцесса? Разве же не был я в самых близких отношениях с гофмаршалом батюшки вашей светлости? Я знаю, что, если бы он увидел меня здесь, он прижал бы меня к своей мощной груди и растроганным голосом сказал бы, предлагая шепотку табаку: «Здесь мы одни, любезный, здесь я могу дать полную волю и сердцу, и самым приятнейшим помыслам». Я получил бы аудиенцию у его светлости князя Иреня и был бы представлен и вам, о принцесса! Я был бы представлен вам так, что, бьюсь об заклад самым трудным аккордом против пощечины, я приобрел бы у вас благосклонность! Но теперь! Здесь, в саду, в самом неподходящем месте, близ пруда, где плавают утки и слышно кваканье лягушек, я должен сам представляться, к вящему моему сожалению! О Боже, если бы я хоть немного умел колдовать, если б я *subito*²¹ мог превратить хоть вот эту благородную зубочистку (он вытащил ее из кармана жилета) в одного из камергеров, блистающих при дворе князя Иреня, он взял бы меня под свое покровительство и сказал: «Светлейшая принцесса, это вот такой-то и такой-то!» Но теперь! *Che far, che dir!*²² Сжальтесь, сжальтесь, о принцесса! О придворные дамы! О знатные господа!

²⁰ Внезапно (*лат.*).

²¹ Вдруг (*лат.*).

²² Что делать, что говорить! (*ит.*)

Незнакомец бросился на колени перед принцессой и запел пронзительным голосом: «Ah, pietà, pietà, signora!»²³

Принцесса схватила Юлию за руку и изо всех сил побежала прочь с громким возгласом: – Это помешанный, помешанный, он бежал из сумасшедшего дома!

Перед самым замком девушек встретила советница Бенцон, и они, полубездыханные, почти упали к ее ногам.

– Что с вами случилось? Ради бога, что означает это торопливое бегство? – спросила она принцессу.

Та, вне себя, в полном замешательстве, еле-еле, в отрывистых фразах могла пролепетать, что на них напал помешанный. Юлия спокойно и рассудительно рассказала обо всем происшедшем и в заключение сказала, что, на ее взгляд, это вовсе не помешанный, а просто иронический, хитрый насмешник, действительно, настоящий *monsieur Жак*, пригодный для комедии в Арденском лесу.

Советница Бенцон заставила еще раз повторить весь рассказ, расспросила о мельчайших подробностях, о походке незнакомца, его манерах, гримасах, тоне голоса и тому подобное.

– Да, да, – воскликнула она наконец, – очевидно, это он, другой не мог бы, не посмел бы вести себя таким образом.

– Кто, кто это? – спросила принцесса нетерпеливо.

– Успокойтесь, милая Гедвига, – возразила Бенцон, – вы напрасно бежали так поспешно. Незнакомец, показавшийся вам таким страшным, совсем не сумасшедший. Как бы зло, неприлично ни шутил он с вами, следуя своей странной манере, я уверена, что вы с ним помиритесь.

– Никогда! – воскликнула принцесса. – Если только я увижу его опять, этого неудобного дурака.

– Какой дух, – со смехом воскликнула Бенцон, – внушил вам это слово неудобный? После всего что произошло, оно более подходит к нему, чем вы можете даже подозревать.

– Я, право, не знаю, – начала Юлия, – как можешь ты так сердиться на этого незнакомца, милая Гедвига? Во всех его дурачествах и странных речах есть что-то особенное, далеко не неприятным образом взволновавшее мою душу.

– Хорошо тебе, – возразила принцесса, в то время как слезы выступили у ней на глазах, – ты можешь быть такой спокойной, а у меня сердце разрывается от насмешек этого ужасного человека! Бенцон, скажите, кто это, кто этот сумасшедший?

– Я объясню все в двух словах, – отвечала Бенцон. – Когда я пять лет тому назад была в...

(*М. прод.*) ...меня, что в истинно поэтическом, глубоком духе может гнездиться и детская добродетель, и сострадание к несчастьям ближних.

Своеобразное, меланхолическое чувство, часто овладевающее молодыми романтиками, когда они переживают в душе своей трудный процесс развития великих, возвышенных идей, побудило меня удалиться в одиночество. Долгое время я не делал посещений ни в подвал, ни на крышу, ни на чердак. Вместе с известным поэтом я испытывал сладкие идиллические радости в маленьком домике на берегу журчащего ручья, под сенью мрачной листвы развесистых ив и плакучих берез: отдавшись чудным снам, я все время оставался под печкой. Случилось так, что я более не видал Мины, моей милой, прекрасной матери, покрытой пятнышками. Зато я нашел утешение в науках. О, в науках есть что-то дивное! Благодарность, горячая благодарность тому мужу, который изобрел их! Насколько прекраснее и полезнее это изобретение открытия того ужасного монаха, который впервые решился фабриковать порох, вещь глубоко противную мне по своей природе и действию. Справедливое потомство, всегда постановляющее достоподобный приговор, наказало насмешливым презрением этого варвара, этого дьявольского Бартольда; еще поныне, желая поставить на должную высоту какого-нибудь остроумного ученого, про-

²³ Ах, сжальтесь, сжальтесь, синьора!(ит.)

нищательного статистика – словом, каждого человека с изысканным образованием, – говорят всегда языком поговорки: «Он пороху не выдумает».

Для поучения котовской молодежи, подающей надежды, не могу оставить без замечания, что, когда я хотел штудировать, то с закрытыми глазами впрыгивал в библиотеку моего воспитателя, вытаскивал книгу, на которую попадали мои когти, и прочитывал ее от доски до доски, каким бы содержанием она ни отличалась. Благодаря такому характеру моих научных занятий я приобрел эту гибкость и разносторонность ума, эту яркую пестроту и разнообразие знаний, которым будет дивиться потомство. Я не буду здесь называть книги, которые я прочитывал одну за другой в упомянутый период поэтической меланхолии, частью потому, что, может быть, для этого встретится более подходящий случай, частью потому, что я забыл их заглавия, а это опять до известной степени, по той причине, что я большей частью заглавия не прочитывал, а следовательно, никогда их и не знал. Каждый, я думаю, удовлетворится этим объяснением и не будет обвинять меня в биографическом легкомыслии.

Меня ожидали новые испытания.

Однажды, когда мейстер только что углубился в чтение громадного фолианта, а я рядом с ним, под столом, лежа на листе великолепной бумаги, пытался проникнуть в смысл греческого сочинения, по-видимому, отлично державшегося в моих лапках, – в комнату поспешно вошел молодой человек, которого я уже несколько раз видел у мейстера и который обращался со мной с дружеским почтением или, скорее, с отрядным преклонением, приличным по отношению к определившемуся таланту и признанному гению; в самом деле, он не только каждый раз, поздоровавшись с мейстером, говорил мне: «С добрым утром, кот!», но, кроме того, каждый раз он слегка почесывал у меня за ухом и нежно гладил по спине, в чем я усмотрел несомненное поощрение не оставлять втуне мои душевные дарования, а блистать ими перед взорами света.

Но сегодня все должно было сложиться совсем иначе. Как только дверь отворилась, вслед за молодым человеком вбежало черное косматое чудовище с огненными глазами. Увидев меня, оно тотчас же устремилось в мою сторону. Мной овладел неопишемый страх, одним прыжком я вскочил на письменный стол мейстера, испуская вопли ужаса и отчаяния, между тем как чудовище, производя какой-то оглушительный шум, стало бросаться к столу. Мой добрый мейстер, испугавшийся за меня, взял меня на руки и спрятал под шлафрок. Но молодой человек сказал:

– Не беспокойтесь, любезный мейстер Абрагам. Мой пудель ни одной кошке не делает вреда, он хочет только поиграть. Выпустите кота, и вы сами порадуетесь, глядя, как этот народец сведет между собой знакомство.

Мейстер действительно хотел посадить меня на пол, но я уцепился за него изо всех сил и начал жалобно вопить. Тогда мейстер, усевшись на стул, позволил и мне сесть рядом с ним.

Ободренный покровительством моего господина, я сел на задние лапки и, извивая свой хвост, принял позу, достоинство и благородная гордость которой должны были производить импонирующее впечатление на моего предполагаемого черного противника. Пудель уселся против меня на полу, пристально смотря мне в глаза и произнося отрывистые слова, которые, естественно, оставались для меня непонятными. Страх мой мало-помалу исчез совершенно, и отрядно сделалось на душе, когда я заметил, что взор пуделя не выражает ничего, кроме добродушия и честности. Невольно я начал выказывать нежным движением хвоста свое душевное настроение, крайне склонное к доверию. Тотчас же и пудель начал весьма приятным образом помахивать своим коротеньким хвостиком.

Сердце мое дрогнуло, не было больше ни малейшего сомнения в сродстве наших душ!

– Каким образом, – сказал я самому себе, – каким образом необычное поведение этого незнакомца могло тебя повергнуть в страх и ужас? Эти прыжки, это твяканье, возня, беготня и завыванья, что изобличает все это, как ни пылкого, могучего юношу, полного радостных чувств, любви и восторга? О, несомненно, что в этой черной мохнатой груди живет добродетель

и благородный пуделизм! Ободренный такими мыслями, я решил спуститься со стула и сделать первый шаг к более близкому и тесному единению наших душ.



Как только я поднялся и потянулся, пудель вскочил и стал бегать по комнате с громким лаем – проявление веселого, жизнерадостного характера. Нечего было больше опасаться, я тотчас спустился вниз и осторожно, легкой поступью, приблизился к новому другу. Мы приступили к тому акту, который на языке таинственной символики обозначает ближайшее ознакомление родственных душ, начало союза, обусловленного внутренними качествами, и к которому близорукий наглый человек применяет пошлое, вульгарное выражение «обнюхивать». Мой черный друг выказал желание полакомиться куриными косточками, лежавшими на моем обеденном блюде. Насколько мог, я дал ему понять, что, согласно с требованиями учтивости и светского образования, мне желательно угостить его как моего дорогого гостя. С удивительным аппетитом он пожрал все, что было, в то время как я смотрел на него издалека. Хорошо, однако, было, что я отставил жареную рыбу в сторону и спрятал ее под свою кровать. После закуски мы начали играть в самые приятные игры, в конце же концов крепко обнялись, прижались друг к другу и, перекувырнувшись, раз и навсегда поклялись таким образом – он мне, я ему – в сердечной верности и вечной дружбе.

Не знаю, право, что могло быть смешного в этом тесном соприкосновении двух прекрасных душ, в этом слиянии юношеских сердец?! Тем не менее верно, что и мейстер, и молодой человек, оба беспрерывно хохотали во все горло к немалой моей досаде.

Новое знакомство произвело на меня глубокое впечатление, так что и в тени, и на солнце, и на крыше, и под печкой я ни о чем не думал, ни о чем не помышлял, ни о чем не рассуждал, ни о чем не мечтал, как только о пуделе, пуделе, пуделе! Внутренняя сущность пуделизма предстала предо мной со всеми своими яркими красками, и, благодаря такому проникновению, в душе моей родилось глубокомысленное произведение, уже упоминавшееся раньше: «Мысль и предчувствие, или Кот и Собака». Нравы, обычаи, язык и того, и другого племени были рассмотрены мной как факты, необходимо обусловленные их внутренней сущностью, и мной были представлены доказательства, что это только различные лучи, прошедшие через одну и ту же призму. В особенности я остановился на характере речи и доказал, что, так как язык вообще представляет из себя только символическое олицетворение природного начала в форме звукового развития, посему может быть только один язык, кошачье и собачье наречие являются лишь индивидуализованными разветвлениями пуделической отрасли, произрастающей на общем стволе: следственно, кот, осененный высоким гением, и пудель могут вполне понимать друг друга. Чтобы вполне разъяснить свой тезис, я привел множество примеров, взятых из обоих языков, и обратил внимание на сходство родовых корней: вау-вау, мяу-мяу, бляф-бляф, аувау, корр, курр, пци, пшрци и так далее.

Окончив свою книгу, я почувствовал непреодолимое желание действительно изучить пудельство, что мне и удалось, благодаря вновь приобретенному другу, пуделю Понто, – удалось, правда, не без усилий, так как пуделический язык котам весьма труден для изучения. Но гениальные личности не потеряются ни при каких затруднениях, и именно такую-то гениальность отрицает один знаменитый людской писатель, утверждая, что для изучения чужого языка со всеми его особенностями нужно быть только-только не дураком!.. Мейстер, понятно, держится такого же мнения и допускает лишь научное изучение иностранных языков, противопоставляя ему изучение разговорного языка, то есть, выражаясь его словами, приобретение способности болтать на чужом языке всякий вздор. Он заходил даже так далеко, что считал какой-то болезнью привычку наших придворных господ и дам изъясняться на французском языке, говоря, что такая болезнь, подобно припадкам каталепсии, сопровождается страшными симптомами. Даже к княжескому гофмаршалу он решился применять такое абсурдное утверждение.

– Сделайте милость, – сказал однажды мейстер Абрагам, – понаблюдайте-ка за собой, ваше превосходительство. Небо даровало вам прекрасный, полнозвучный голосовой орган, а как только вы станете говорить по-французски, вы тотчас же начинаете присвистывать, пришепетывать, картавить, и при этом правильные черты вашего приятного лица искажаются ужасно; ваша строгая, серьезная осанка исчезает, и вами овладевают странные конвульсии. Что может все это обозначать, как ни оковы фатального духа болезни, скрывающегося внутри вас!

Гофмаршал сильно смеялся, да и как не смеяться было над научной гипотезой мейстера Абрагама.

Один глубокомысленный ученый дает в какой-то книжке совет думать на том чужом языке, который хочешь изучить в короткое время. Совет превосходный, но выполнение его сопряжено с некоторой опасностью. Я чрезвычайно скоро привык к пуделическому мышлению, но притом мой ум до того весь наполнился пуделическим образом мыслей, что я почти забыл свой собственный язык и сам не понимал, что думал. Эти непонятые мной мысли я большей частью заносил на бумагу, и немало сам удивляюсь глубине этих изречений, которые я издал в свет под заглавием «Аканфовых листов» и которые до сих пор еще сам не понимаю.

Думается мне, что этих коротких указаний относительно истории первых месяцев моей юности вполне достаточно, чтобы дать читателю ясный образ того, что я представлял из себя и как достиг своего развития.

Не могу, однако, расстаться с периодом расцвета моей поучительной, полной тревожных моментов жизни без того, чтобы не упомянуть об одном событии, которое образует до известной степени переход к годам зрелости и законченности образования. Котовская молодежь должна научиться отсюда, что нет розы без шипов и что полному мощных стремлений духу представляется много препятствий, на его пути лежит много острых камней, о которые он больно поранит лапы!

Ты, конечно, любезный читатель, успел уже позавидовать моей счастливой юности, моей счастливой звезде, заботливо указывавшей путь. Родившись в скудной обстановке, от знатных, но бедных родителей, еле спасшись от самой бесславной смерти, я вдруг вступил на лоно изобилия, приобщился к неиссякаемым перуанским рудникам литературы! Ничто не препятствует моему образованию, ничто не служит помехой моим склонностям, гигантскими шагами я иду к совершенству, возносящему меня над моей эпохой. Как вдруг меня хватает таможенный смотритель и требует пошлину, которой обложены здесь на земле решительно все.

Кто мог бы подумать, что под узами сладчайшей, сердечной дружбы скрываются острые терны, которые будут царапать меня и ранить – и до крови ранить!

Каждый, кто носит, как я, горячее сердце в груди, поймет из всего, что я рассказал о моем отношении к пуделю Понто, как дорог он был мне, и, однако же, именно он должен был дать первый толчок к катастрофе, которая вовсе могла бы меня погубить, если бы только, как гений-хранитель, не парил надо мной дух моего прародителя. Да, любезный читатель, я должен признаться тебе, у меня был прародитель, такой прародитель, без которого я до известной степени совсем бы не мог появиться на свет – великий, исполненный славы муж с отличным положением, состоянием, репутацией, с разнообразными научными сведениями, одаренный вполне изысканной добродетелью и тончайшим человеколюбием, муж вполне *compte il faut*, элегантный, со вкусом – словом... Но теперь о нем я не буду больше распространяться, имея в виду позднее подробно поговорить об этом достойнейшем, который был не кем иным, как на весь свет прогремевшим министром-премьером Гинцфон-Гинценфельдтом, получившим громадную известность под именем Кота в сапогах.

Но, как сказано, еще впереди будет речь о благороднейшем из всех котов!

Когда я получил способность выражаться на пуделическом языке легко и красиво, могли ли я удержаться, чтобы не говорить с своим другом Понто о том, что мне было в жизни всего дороже, о самом себе и о своих начинаниях? Таким образом он ознакомился с моими оригинальными духовными качествами, с моей гениальностью, с моими талантами; и тут-то открылся я, к немалому своему огорчению, что непобедимое легкомыслие, больше того, какая-то кичливость мешают юному Понто сделать какой-либо успех в науках и искусствах. Вместо того чтобы впасть в изумление пред глубиной моих сведений, он удостоверил меня, что трудно понять, каким образом пришло мне в голову заняться подобными вещами. Он со своей стороны ограничился в сфере искусства лишь тем, что умеет перепрыгивать через палку и подавать своему господину фуражку, вытаскивая ее из воды; насчет же наук он полагает, что существа, подобные мне и ему, занимаясь ими, только портят себе желудок и теряют всякий аппетит.

Во время одного из таких разговоров, когда я старался вразумить моего юного легкомысленного друга, случилось нечто ужасное. Прежде чем я успел опомниться, вдруг...

(Мак. л.) ...поймите же, – возразила госпожа Бенцон, – что этими сумасбродными фантазиями, этой злостной иронией вы ничего никогда не причиняете, кроме беспорядка – замешательства – полного диссонанса во всем, что принято.

– О, как прекрасен, – воскликнул с улыбкой Иоганн Крейслер, – тот капельмейстер, который умеет создавать подобные диссонансы!

– Будьте серьезны, – продолжала советница, – вы не отделаетесь от меня вашими ироническими шутками! Вы в моих руках, любезный Иоганн. Да, я вас буду так называть, славным именем Иоганна, чтобы я, по крайней мере, могла надеяться, что за этой сатирической маской скрывается нежная, чуткая душа. И потом всегда я буду думать, что это странное имя Крейслер выдуманно нарочно и подменено вместо совершенно другой фамилии!

– Многоуважаемая советница, – проговорил Крейслер, в то время, как все лицо его покрылось тысячью странных складок и морщин, – дорогая советница, что, собственно, имеете вы против моего честного имени? Быть может, некогда у меня и было другое, но очень давно, это же имя ужасно идет ко мне, и я, как советник в «Синей Бороде» Людвига Тика, могу сказать: «Когда-то я носил превосходное имя, но с течением времени я его почти совсем позабыл и могу теперь только смутно припомнить».

– Если вы постараетесь вспомнить, – воскликнула советница, окидывая его пронизательным взглядом, – полузабытое имя, наверное, снова придет вам на ум!

– Совсем нет, дорогая моя, – возразил Крейслер, – это невозможно, и я думаю даже, что смутное воспоминание о том, как я в качестве житейского паспорта носил другое имя, относится к тому приятному времени, когда я собственно еще не был рожден на свет. Окажите такую любезность, достопочтеннейшая, рассмотрите мое имя в надлежащем свете, и вы увидите, что все в нем прекрасно касательно рисунка, колорита и физиономии. Больше того! Подвергните его исследованию, рассеките его анатомическим ножом грамматического анализа, все ярче будет блистать его внутреннее содержание. Невозможно, чтоб вы, несравненная, нашли корень моей фамилии в слове Kraus («курчавый») и меня, по аналогии со словом Haarkräusler («парикмахер») сочли за парикмахера, ибо фамилия моя имела бы тогда другое правописание (Kräusler). Вы не можете упустить из внимания слово Kreis («круг»), и дай бог, чтобы тотчас же вы подумали о тех заколдованных кругах, в которых заключено все наше существо и из которых мы не можем выйти, что бы мы ни делали. Вот в этих-то кругах и кружится Крейслер (in diesen Kreisen kreiselt sich der Kreisler), и хорошо, что нередко, утомленный такими вынужденными прыжками пляски святого Витта, споря с темной непостижимой силой, предписавшей эти круги, он стремится на широкий простор, стремится в большей степени, чем это позволяет его слабая конституция. Глубокая скорбь, связанная с таким стремлением, может опять-таки выражаться в форме той иронии, которую вы, о достопочтенная, так жестоко осуждаете, не принимая во внимание, что могучая мать родила сына, который вступил в мир, как победоносный король. Я разумею юмор, не имеющий ничего общего с вырождением, сводной сестрой своей – насмешкой.

– Да, – сказала советница, – именно этот юмор, этот подкидыш распушенной, капризной фантазии, относительно которого вы, жестокие мужчины, даже не знаете, за кого, собственно, его нужно считать, именно он во всем виной: вы навязываете его нам, как нечто великое и прекрасное, когда хотите злостной насмешкой уничтожить все, что нам мило и дорого. Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гедвига до сих пор еще вне себя, благодаря вашему появлению и вашему поведению в парке? Она крайне обидчива, и малейшая шутка, в которой она видит насмешку над своей личностью, оскорбляет ее. Кроме того, вам, любезный Иоганн, было угодно представиться каким-то помешанным и возбудить в ней такой ужас, что она чуть не слегла в постель. Возможно ли это извинить?

– Так же мало, – возразил Крейслер, – как если бы какая-нибудь маленькая принцессочка вздумала в открытом парке своего папаши производить своей маленькой персоной импонирующее впечатление на случайно встретившегося незнакомца с самыми приличными манерами.

– Ну, как бы там ни было, – продолжала советница, – но ваше странное появление в парке могло иметь очень дурные последствия. И только Юлии мы обязаны тем, что эти последствия отвращены, что принцесса, по крайней мере, свыклась с мыслью, что она может снова увидеть вас. Юлия берет вас под свою защиту и во всем, что вы говорили, во всем, что вы делали, видит

только вспышку сумасбродства, свойственную человеку, глубоко оскорбленному или обидчивому. Словом, Юлия незадолго перед этим познакомилась с шекспировской пьесой «Как вам будет угодно» и сравнивает вас с меланхолическим monsieur Жаком.

– О, чудное дитя, полное предчувствий! – воскликнул Крейслер, в то время как на глазах у него выступили слезы.

– Кроме того, – сказала госпожа Бенцон, – моя Юлия увидела в вас прекрасного музыканта и композитора, слушая, как вы фантазировали на гитаре, причем, как она рассказывала, сопровождали игру пением и разговорами. Она думает, что в то мгновение ею овладел сам гений гармонии, какая-то невидимая сила заставила ее петь и играть, и музыка удалась ей в те минуты лучше, чем когда бы то ни было. Но видите ли, в чем дело, Юлия никак не может примириться с мыслью, что она не увидит еще раз странного человека, который явился ей, как чудный дух музыки; принцесса, напротив, утверждает со свойственной ей горячностью, что она умрет, если увидит во второй раз этого сумасшедшего, похожего на привидение. Так как Юлия и принцесса живут душа в душу и никогда между ними не было разногласий, я имею полное право предполагать, что здесь повторится сцена, бывшая во время их детства, когда Юлия непременно хотела бросить в камин доставшегося ей полишинеля, несколько странного на вид, а принцесса, напротив, взяла его под свою защиту и объявила, что это ее любимец.

Крейслер разразился громким смехом и воскликнул:

– Пусть же принцесса кидает в камин своего второго полишинеля, я вверяю себя нежной благосклонности кроткой Юлии!

– Вы, – продолжала госпожа Бенцон, – сочтете, пожалуй, воспоминание о полишинеле за юмористическую выходку, не толкуйте же ее дурно. Впрочем, вы легко можете себе представить, что по рассказу девушек обо всем, что произошло в парке, я сразу узнала вас. Юлии не нужно было высказывать такое желание снова вас увидеть: я и без того через несколько минут разослала всех своих людей в парк, велела обойти весь Зигхартсвейлер, чтобы найти вас, так как вы были мне дороги, несмотря на наше мимолетное знакомство. Но все поиски были напрасны – вы исчезли; тем больше было мое изумление, когда вы сегодня пришли ко мне. Юлия сейчас находится у принцессы. Какая борьба разнообразнейших ощущений возникла бы там, если бы девушки узнали сейчас о вашем приходе! Когда вы будете чувствовать себя совсем хорошо, я попрошу вас объяснить мне, что вас привело сюда так внезапно, тогда как я полагала, что вы занимаете прекрасное положение капельмейстера при дворе великого герцога.

Пока советница говорила, Крейслер был погружен в глубокую задумчивость. Опустивши свой взор, он прижал палец ко лбу, как человек, желающий вспомнить что-нибудь забытое.

– Ах, – начал он, когда советница умолкла, – это глупая история и вряд ли стоит ее рассказывать. Но верно, однако, что маленькая принцесса была до известной степени права, считая меня за сумасшедшего. Когда я имел несчастье испугать в парке эту маленькую недотрогу, я возвращался с визита, сделанного не кому другому, как его светлости великому герцогу, и здесь, в Зигхартсвейлере, я желал продолжить необычайнейшие и приятнейшие визиты.

– О, Крейслер, – воскликнула советница, слегка улыбаясь (громко она никогда не смеялась), – это опять какая-то странная выдумка: резиденция герцога находится по меньшей мере в тридцати часах езды от Зигхартсвейлера.

– Точно так, – возразил Крейслер, – но ведь гуляют же в саду, стиль которого может приводить в изумление. Если вы, многоуважаемая, не хотите допустить мысли о моей поездке с целью визита, так, по крайней мере, вы можете себе представить, что чувствительный капельмейстер с веселой песней, с гитарой в руках, прогуливаясь по душистому лесу, по свежезеленым лугам, пробираясь через дикие каменистые ущелья, через узкие мостики, под которыми с шумом пенятся лесные ручьи – словом, такой капельмейстер, начиная, как солист, песню, которую подхватывают хором тысячи голосов, легко может пройти в ту или другую часть сада, совсем неумышленно, совсем без цели. Точно так вот и я попал в придворный княжеский

парк, представляющий из себя не что иное, как маленькую-маленькую часть великого, грандиозного парка, раскинутого самой природой. Но, впрочем, нет! Когда вы недавно говорили, как целый потешный отряд охотников был послан изловить меня, как подстреленного, но убегающего зверя, я получил твердое внутреннее убеждение в необходимости моего присутствия здесь, необходимости, которая фатально должна была осуществиться. Вы изволили упомянуть, что вам дорого знакомство со мною; не должен ли был я вспомнить при этом о злополучных днях смятения и общего замешательства, к которым нас привела судьба? Вы видели меня тогда колеблющимся, растерянным, бессильным принять какое-нибудь определенное решение. Вы отнеслись ко мне с дружеским расположением, благодетельно распростерли надо мной безоблачное небо спокойной женственности, сумели утешить меня, порицая и в то же время прощая мои безумные выходки, приписавши их действию безутешного отчаяния, бывшего следствием суровых обстоятельств. Вы вырвали меня из обстановки, которую сам я считал двусмысленной; ваш дом сделался дружеским, мирным приютом, где я, уважая вашу тихую скорбь, забыл свою. Вы не знали, чем больна моя душа, но ясность вашей души, кроткие ваши речи оказывали на меня действие благодетельного целебного средства. Не суровые угрозы судьбы разрушить мое положение в свете влияли на меня так враждебно. Давно я желал устранить отношения, стеснявшие и мучившие меня. Я не мог негодовать на судьбу, исполнившую то, что сам я не имел мужества сделать. О, нет! Когда я почувствовал себя свободным, меня охватило то несказанное беспокойство, которое с дней моей юности часто создает в душе моей какую-то двойственность. Это приистекающее из самых возвышенных чувств и никогда не покидающее человека, никогда не приводящее к желанной цели стремление, о котором говорит так прекрасно поэт. Нет, во мне кипит безумное смутное желание, которое никак не может выразиться вполне определенно; это какая-то странная темная тайна, это какой-то загадочный сон об утерянном райском блаженстве. Нет, это даже не сон, а предчувствие, которое наполняет меня муками Тантала. Оно овладело мной давно, когда я был еще ребенком. Как часто, бывало, среди самых веселых игр со своими сверстниками я убегал в лес или в горы, бросался на землю и безутешно плакал, несмотря на то, что я был самый отчаянный шалун. Позднее я научился лучше владеть собой, но не был в силах выразить всю муку неизъяснимого душевного состояния, когда, бывало, в самой отрадней обстановке, будучи окружен любящими друзьями, испытывая художественное наслаждение или удовлетворение своего самолюбия, я вдруг чувствовал, что все это жалко, ничтожно, бесцветно, что я как будто нахожусь в безутешной тоскливой пустыне. И есть только один светлый гений, который имеет власть над злым демоном, – это гений музыки. Порою он властно поднимается в душе моей, и перед его могучим голосом смолкают все земные муки.

– Я всегда думала, – проговорила советница, – что музыка действует на вас слишком сильно, то есть пагубно: я видела, как при исполнении какой-нибудь превосходной мелодии все ваше существо, по-видимому, проникалось ей, в то же время черты лица совершенно изменялись. Вы бледнели, вы теряли способность произнести хоть слово. Вздохи теснили вашу грудь, слезы падали из глаз, и, если кто-нибудь решался хоть слово сказать об исполняемом вами музыкальном произведении, вы жестоко насмехались над ним с самой уничтожающей иронией. Даже...

– О, многоуважаемая советница, – прервал Крейслер госпожу Бенцон, мгновенно переменяя серьезный тон на особенный, свойственный ему тон иронии, – теперь все изменилось. Вы не поверите, как я сделался учтив и благовоспитан при дворе великого герцога. С невозмутимым спокойствием и полным добродушием я могу сохранять такт и в «Дон Жуане», и в «Армиде», я дружески киваю примадонне, когда она выделывает удивительные прыжки в сфере каданса; если же гофмаршал, прослушав «Времена года» Гайдна, шепчет мне на ухо:

«C'était bien ennuyant, mon cher maître de chapelle»²⁴, я с утвердительной улыбкой покачиваю головой и беру из его табакерки солидную щепотку табаку; наконец, я могу терпеливо слушать, если какой-нибудь тонкий эстетический критик-камергер пространно развивает передо мной мысль, что Моцарт и Бетховен понимали в гармонии чертовски мало, а что Россини, Пучитта, и как там еще они называются, воспарили a la hauteur²⁵ оперной музыки. Да, многоуважаемая, вы не поверите, как я выиграл, как много я приобрел светского лоска во время своего капельмейстерства. В особенности же важно то, что я пришел к прекрасному взгляду относительно необходимости для артиста поступить в услужение! Правда же, в самом деле это лучшее, что можно придумать! Иначе сам черт со своей бабушкой не сладит с этими гордыми, надменными господами. Заставьте добропорядочного композитора сделаться капельмейстером или дирижером, стихотворца – придворным поэтом, живописца – придворным портретистом, скульптора – ваятелем бюстов придворных особ, и вы увидите, что во всей стране скоро исчезнут всякие фантазии: напротив, будут процветать преползные бюргеры, благовоспитанные и покладистые!

– Замолчите же, Крейслер! – воскликнула советница с недовольством. – Вы опять начинаете капризничать. Однако я теперь ясно вижу, что тут что-нибудь кроется. Мне крайне хочется узнать, какое злополучное обстоятельство вынудило вас к поспешному бегству из резиденции герцога. Об нем свидетельствуют все обстоятельства вашего появления в парке.

– Могу вас уверить, – спокойно отвечал Крейслер, пристально смотря на советницу, – что злополучное обстоятельство, прогнавшее меня из резиденции независимо ото всяких внешних условий, заключалось во мне самом. То самое беспокойство, о котором я недавно говорил, быть может, гораздо серьезнее, чем это было нужно, овладело мной с небывалой силой: мое дальнейшее пребывание при дворе герцога сделалось для меня невозможностью. Вы знаете, как я был рад получить должность капельмейстера. Глупец, я думал, что, живя в мире искусства, имея определенное положение, я заставлю умолкнуть демона в груди своей. Но из немногих указаний относительно моих изучений во время пребывания при герцогском дворе вы увидите, что я жестоко обманулся. Позвольте мне представить вам картину, как мало-помалу я принужден был ясно увидеть все ничтожество своего существования, принужден – пошлым заигрыванием с святым искусством, нелепыми выходками безвкусных дилетантов, бездушных, пустых пачкунов, глупых кукол. Я отправился однажды к великому герцогу, чтобы узнать, в чем будет заключаться мое содействие празднеству, которое было назначено на один из ближайших дней. Персона, заведующая всякими зрелищами, естественно, была тут же и набросилась на меня с целой кучей бессмысленных и нелепых советов и предписаний. В особенности этот господин настаивал, чтобы я аранжировал музыку пролога, который был сочинен им самим и который должен был явиться кульминационным пунктом во всем торжестве. «Так как на этот раз, – обратился он к князю, бросая на меня косвенный уничтожающий взгляд, – речь идет не об ученой немецкой музыке, а об изящном итальянском пении, я сам сочинил несколько нежных мелодий, которые нужно только исполнить надлежащим образом». Великий герцог не только соизволил утвердить все это, но и воспользовался случаем дать мне понять, что он вообще питает надежды на мои старания усовершенствовать мою дальнейшую музыкальную эрудицию посредством ревностного изучения новейших итальянских композиторов. Каким жалким я показался самому себе! Как глубоко я презирал себя! Все эти унижения представились мне справедливым возмездием за мое ребяческое сумасбродное долготерпение! Я оставил замок, чтобы никогда не возвращаться туда. Я хотел в тот же вечер потребовать отставку, но даже это решение не могло доставить мне успокоения, потому что я уже увидел себя подвергнутым какому-то тайному остракизму. Взяв гитару, которая была захвачена совсем для другой надоб-

²⁴ «Это было довольно скучно, дорогой капельмейстер!» (*фр.*)

²⁵ На вершину (*фр.*).

ности, я отослал свою карету и бежал. Солнце склонялось к западу, все шире, темнее становились тени от гор и от леса. Несносной, нестерпимой сделалась для меня мысль о возвращении в резиденцию. «Да и какая сила могла бы принудить меня к возвращению?» – воскликнул я громко. Я знал, что я нахожусь на дороге, ведущей к Зигхартсвейлеру, вспомнил о моем старом мастере Абрагаме, от которого за день до этого получил письмо, в котором, предчувствуя, каково мое положение в резиденции, он звал меня к себе...

– Как, – прервала капельмейстера советница, – вы знаете этого старого чудака?

– Мастер Абрагам, – продолжал Крейслер, – был закадычным другом моего отца, был моим учителем, отчасти даже воспитателем! Теперь, достоуважаемая, вы знаете в подробности обстоятельства, которые привели меня в парк князя Иреня. Вы, конечно, не сомневаетесь более, что я, когда нужно, могу с полной исторической подробностью и не без занимательности рассказывать о том, чего сам боюсь. Вообще вся история моего бегства представляется мне, как сказано, такой нелепой и в то же время такой удивительно разумной, что о ней трудно даже и говорить. После всего вышеизложенного не будете ли вы добры, дорогая моя, преподнести испуганной принцессе мой рассказ в виде, так сказать, успокоительного лекарства? Пусть она придет в состояние равновесия и подумает, что держать себя особенно изысканно никак не мог человек, подобный мне, – честный немецкий музыкант, только что надевший шелковые чулки, только что важно кривлявшийся в чудной карете и немедленно обращенный в бегство всякими Россини, и Пучитта, и Павези, и Фьоравенти, и бог знает еще какими *ini* и *itta*. Надеюсь, что на прощение можно надеяться! В качестве поэтического созвучия с таким скучным приключением я должен отметить перед вами, о многуважаемая советница, еще одно обстоятельство: когда я, гонимый своим демоном, хотел бежать прочь, самое сладкое очарование удержало меня. Только что демон со злорадством хотел осквернить в моем сердце заветную тайну, как вдруг мощный гений гармонии распростер надо мной свои крылья и под их мелодический шелест в груди у меня проснулись надежда, отрада и чувство тревожной и сладкой тоски – символ бессмертной любви и вечной юности. Это Юлия пела!

Крейслер умолк. Госпожа Бенцон с напряженным вниманием слушала, что последует дальше. Но, так как, по-видимому, капельмейстер совершенно погрузился в глубокую задумчивость, она спросила не по-дружески холодно:

– Вы на самом деле находите приятным пение моей дочери, любезный Иоганн?

Крейслер вздрогнул.

– Да, я хотел сказать именно это, – проговорил он и притом глубоко вздохнул.

– Ну, в таком случае я очень рада, – продолжала советница. – Юлия может многому поучиться у вас, милый Крейслер, я считаю делом решенным, что вы остаетесь здесь.

– Достоуважаемая... – начал Крейслер, но в то же мгновение дверь отворилась и в комнату вошла Юлия.

Когда она увидела Крейслера, на ее милом лице показалась прелестная улыбка, и легкое восклицание невольно сорвалось с ее губ.

Госпожа Бенцон встала, взяла капельмейстера за руку и, подведя его к Юлии, сказала:

– Вот, дитя мое, это – тот необычайный...

(*М. прод.*) ...юный Понто устремился к новейшему моему манускрипту, лежавшему рядом со мной, схватил его в зубы, прежде чем я успел опомниться, и стремглав умчался прочь. Он испустил при этом злорадный хохот, заставивший меня заподозрить, что не одна только юношеская резвость толкнула его на злодеяние, но и еще что-то другое. Вскоре все сомнения должны были рассеяться.

Через два дня в комнату моего мастера вошел тот человек, у которого Понто находится в услужении. Как я узнал потом, это был господин Лотарио, профессор эстетики в местном лицее. После обычных приветствий профессор окинул взором всю комнату и, увидев меня, сказал:

– Добрейший мейстер, не удалите ли вы отсюда на минутку этого молодца?

– Почему? – спросил мейстер. – Не нападайте на кошек, профессор, в особенности же на моего любимца, нарядного, умного кота Мурра!

– Да, – проговорил профессор, насмешливо улыбаясь, – нарядный, умный, это верно. Но сделайте мне удовольствие, мейстер, удалите пока вашего любимца, мне нужно сообщить вам некоторую вещь, которой он не должен слышать.

– Кто? – воскликнул мейстер Абрагам, с изумлением уставившись на профессора.

– Да, конечно, ваш кот. Прошу вас, не спрашивайте меня больше и сделайте так, как я вас прошу.

– Странно, странно, – проговорил мейстер, тем не менее открыл двери кабинета и позвал меня. Я последовал зову, но тотчас же незаметно для мейстера шмыгнул опять в его комнату и спрятался в нижнем отделении книжного шкафа: никем невидимый, я сам мог слышать и видеть решительно все.

Мейстер Абрагам уселся в кресло против профессора и заговорил:

– Скажите же мне теперь ради всего святого, что это за тайна, которую вы хотите сообщить мне и которую не должен знать мой честный кот Мурр?

– Прежде скажите вы мне, мейстер, – начал профессор самым серьезным голосом, – что вы думаете о принципе, сообразно с которым, не имея в виду ни особых прирожденных способностей, ни таланта, ни гения, и рассчитывая только на физическое здоровье и особую систему воспитания, можно из каждого ребенка в течение самого короткого времени, следовательно, еще в года его детства, создать превосходного представителя науки и искусства?

Мейстер Абрагам ответил:

– Что другое могу я думать о таком принципе, как не то, что он нелеп и совершенно бессмыслен. Вполне естественно, конечно, что ребенку, обладающему хорошей памятью и некоторой сообразительностью, которая нередко встречается и у обезьян, можно систематически вбить в голову массу вещей для того, чтобы потом показывать его перед зрителями; только у этого ребенка должен совершенно отсутствовать всякий природный гений, иначе его здравый смысл, его врожденные способности возмутятся против такой зловерной процедуры. Но кто же скажет, что такой односторонний юнец, напичканный всякими крохами знаний, является ученым в истинном смысле слова?

– Весь свет, – воскликнул горячо профессор, – решительно весь свет! Это-то и ужасно! Всякая вера в прирожденную высшую духовную силу, которая одна, только одна, создает истинного научного деятеля, истинного художника, летит к черту благодаря такому злосчастному, нелепому принципу!

– Не горячитесь, – с улыбкой проговорил мейстер. – Сколько мне известно, до сих пор в нашей доброй Германии фигурировал только единственный продукт этой воспитательной методы. Некоторое время о нем говорили, потом перестали говорить, увидев, что названный продукт не особенно доброкачественного свойства. К тому же, процветание упомянутого препарата совпало с периодом моды на всяческие раритеты, на всяческих «гениальных» артистов, которые показывали свои фокусы за весьма недорогую плату, – подобно тому, как в цирках показывают фокусы дрессированных собак и обезьян.

– Так говорите вы, мейстер Абрагам, – начал опять свою речь профессор, – и вам, конечно, поверили бы, если бы не знали, что в вас постоянно скрывается некий проказник, что вся ваша жизнь была целым рядом необычайных экспериментов. Сознайтесь же, мейстер Абрагам, что в тиши своего кабинета самым потаенным образом вы готовите эксперимент, который вполне согласуется с упомянутым принципом, но оставит далеко за собой его изобретателя. Вы хотите выступить с вашим воспитанником и привести в изумление и отчаяние профессоров целого света, вы хотите покрыть жесточайшей насмешкой превосходное правило:

non ex quovis ligno fit Mercurius!²⁶ Словом, этот quovis здесь, но он не Mercurius, а обыкновенный кот!

– Как вы говорите, – воскликнул с громким смехом мейстер, – что вы говорите? Кот?

– Не отрицайте же, – продолжал профессор, – что вы применили вышеупомянутую абстрактную педагогическую методу к вашему коту Мурру, что вы научили его читать, писать, преподали ему науки, так что он уже теперь начал заниматься литературой и сочинять стихи.

– Ну, – проговорил мейстер, – признаюсь, никогда со мной не случалось подобной удивительной истории! Я воспитываю своего кота, я преподаю ему науки! Скажите мне, профессор, какие сны посетили ваш ум? Уверяю вас, что я решительно ничего не знаю об эрудиции моего кота и считаю ее даже совсем невозможной.

– Правда? – протяжно спросил профессор, вытащил из кармана тетрадь, в которой я сразу признал похищенную Понто рукопись, и прочел вслух:

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫСШЕМУ

Я полон весь желанием кипучим,
Таю в груди тревогу и тоску!
Мой дух пришпорен гением могучим,
Уж не готов ли к смелому прыжку?
О, что со мной?
Зачем полна любовью жизнь моя?
И в неустанном, сладостном стремленьи
Зачем томлюсь, зачем сгораю я?
Я увлечен в страну очарованья,
Я полон грез, которым нет названья,
Меня весна лазурная манит.
Приветствую от уз освобожденье,
От мук среди цветов отдохновенье!
О, пусть мой дух на небо воспарит!

Надеюсь, что каждый из добрейших моих читателей увидит мастерство этого превосходного сонета, вылившегося из глубины души моей, и тем больше будет удивляться, если я скажу, что он принадлежит к числу первых плодов моего пера. Но профессор в злобе своей читал его без всякого чувства, так отвратительно, что я еле-еле сам узнал себя в этих строках. Мной овладел порыв моментального гнева, что часто бывает с молодыми поэтами, и под влиянием такого чувства я хотел уже выскочить из своего убежища и вцепиться в физиономию профессора, дабы он познал остроту моих когтей. Однако благоразумная мысль, что мне непременно придется дать тягу, если оба – и мейстер, и профессор – на меня набросятся, заставила меня победить свой гнев; тем не менее я невольно испустил ворчливое «мяу», которое обязательно было бы услышано, если бы мейстер тотчас после того, как был прочитан сонет, не разразился оглушительным хохотом, оскорбившим меня, пожалуй, еще больше, чем грубость профессора.

– Ого! – воскликнул мейстер. – Действительно, сонет вполне достоин какого-нибудь кота! Но я все еще не понимаю вашей шутки, профессор. Скажите же мне прямо, к чему она?

Профессор, оставляя без ответа вопрос мейстера, перевернул несколько листов в рукописи и прочел дальше:

ИСТОЛКОВАНИЕ

²⁶ Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия!(лат.)

Любовь нескромная на всех дорогах грезит,
О дружбе в тишине отрадно помечтать, Как гость непрощеный, любовь к вам нагло лезет,
А дружбу – надо отыскать.

Звуки сладкие рыдают,
Их стремленья – не унять;
Скорбь иль радость возвещают, —
Сам не знаю, как понять!
Неудержные, несутся
Где-то в дальней стороне!
И откуда раздаются?
Наяву или во сне?
Этим чувствам как излиться?
Как с далеким пенем слиться,
Чтобы дух мой не страдал?
И куда уединиться —
На чердак или в подвал?
Эти муки неземные,
Эту скорбь любовь дала!
Но настанут дни иные,
И, стряхнувши бремя зла,
Слезы чистые роняя,
Я расстануся с тоской,
И душа моя больная
Обретет себе покой!
Лучше петь протяжно, складно,
Милый кот мой, чем рыдать!
Прочь от мира! Всех вас жадно
Хочет пасть его пожрать!
А под печкой так отрадно
С милым пуделем мечтать!
Сам я знаю...

– Нет, друг мой, – прервал тут мейстер декламирующего профессора, – вы, право же, приводите меня в нетерпение: вы сами или другой какой-нибудь шутник вздумали посмеяться и написали стихи в духе сочинительствующего кота, конечно, моего кота, доброго Мурра, и теперь все время потешаетесь надо мной. Шутка, впрочем, недурна и, вероятно, очень понравится Крейслеру, который не преминет поострить относительно ее, причем в конце концов вы же окажетесь в проигрыше. Но теперь отложите пока в сторону вашу остроумную выдумку и скажите мне коротко и ясно, к чему вы все это затеяли?

Профессор закрыл рукопись, пристально посмотрел мейстеру в глаза и потом начал:

– Эти листы несколько дней тому назад мне принес пудель Понто, который, как вы знаете, находится с котом Мурром в самых дружеских отношениях. Правда, он принес рукопись в зубах, как вообще он привык держать поноску. Однако он положил ее совершенно целой мне на колени и при этом явственно дал понять, что она принесена ни от кого другого, как от его друга, кота Мурра. Когда я заглянул в нее, мне тотчас же бросился в глаза совершенно особенный, своеобразный почерк. Когда же я прочел отрывки из рукописи, непостижимым образом мне пришла в голову странная мысль, что все это написал кот Мурр. Как ни доказы-

вал мне разум, а также известный жизненный опыт, которого никто из нас не может избежать и который в конце концов есть тоже разум, что мысль эта нелепа, что кот не в состоянии ни писать, ни сочинять стихи, все-таки я был бессилён отделаться от своего предположения. Я решил наблюдать за вашим котом. Узнавши от Понто, что Мурр часто бывает у вас на чердаке, я вынул несколько кирпичей со своей кровли, так что мне открылся свободный вид сквозь слуховое окно вашего дома, влез на свой чердак и стал наблюдать. Что же я заметил? Слушайте и удивляйтесь! В самом уединенном углу чердака сидит ваш кот, выпрямившись перед маленьким столиком, на котором расположены все письменные принадлежности; сидит, потирает себе лапкой лоб и затылок, проводит ей по лицу, обмакивает перо в чернильницу, пишет, останавливается, опять пишет, перечитывает написанное, ворчит – я это слышу – ворчит и мурлычет от живейшего удовольствия. А вокруг него лежат различные книги, взятые, судя по переплету, из вашей библиотеки.

– Это было бы чертовщиной! – воскликнул мейстер. – Пойду-ка, правда, посмотрю, все ли книги целы.

С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу. Увидев меня, он отскочил на три шага назад и стал смотреть с удивлением. Профессор воскликнул:

– Вот видите, мейстер! Вы думаете, что ваш приятель спокойно сидит в камерке, куда вы его заперли, а он взял да спрятался в книжный шкаф, чтобы заняться там изучениями, или же, вероятнее, чтобы подслушивать наш разговор. Теперь он слышал все, что мы говорили, и примет, конечно, соответственные меры.

– Кот, – начал мейстер, продолжая смотреть на меня взглядом, полным изумления, – кот! Если бы я знал, что ты, совершенно изменяя честной естественной природе, будешь сочинять такие странные стихи, если бы я мог думать, что ты действительно погонишься за науками вместо того, чтобы гоняться за мышами, я бы тебе все уши оборвал, я бы тебе...

Мной овладел смертельный страх. Приложив уши к голове, я притворился, будто крепко сплю.

– Да нет же, нет, – продолжал мейстер, – посмотрите только, профессор, как беззаботно спит мой честный кот! Есть ли во всем его добродушном лице хоть что-нибудь намекающее на подобные шельмовские проделки? Мурр! Мурр!

На возглас мейстера я не преминул ответить моим обычным «Мрррррр», раскрыл глаза, приподнялся и сделал приятное грациозное движение, вознеся спину высоко вверх.

Профессор, исполненный гнева, швырнул мне тетрадь в голову, я представил (природная хитрость подсказала мне это), что он хочет со мной поиграть, и, прыгая, танцуя, разорвал рукопись на мелкие клочки.

– Ну, – проговорил мейстер, – решено, вы были неправы, профессор, и Понто вам что-то наврал. Посмотрите, как Мурр разделяет стихи, – какой же поэт обращается так с своей рукописью?

– Я вас предостерег, поступайте, как хотите, – возразил профессор и вышел из комнаты.

Я думал, что гроза миновала, как жестоко я ошибался! К крайнему моему огорчению, мейстер высказался против моих научных занятий, и, хотя он сделал вид, что не поверил ни одному слову профессора, тем не менее я заметил, что он начал следить за каждым моим шагом. Он отрезал мне доступ в свою библиотеку, начав аккуратно запирает книжный шкаф, и не стал больше позволять мне лежать на письменном столе среди бумаг.

Так-то печаль и забота посетили мою чуть забрезжившую юность! Что может быть прискорбнее для гения – видеть себя непонятым, осмеянным? Что может озлобить больше всего великий дух, как не препятствия, встреченные там, где он мог ожидать всяческого содействия?

Но чем сильнее давление, тем могущественнее сопротивление: чем туже натянут лук, тем дальше летит стрела! Чтение было мне возбранено, мой собственный дух начал работать свободнее, создавая идеи в самом себе.

Исполненный недовольства в этот период моей жизни, я провел много ночей в подвалах дома, где было расставлено много мышеловок и где сверх того собиралось много котов разного возраста и состояния.

От смелого философского ума не ускользают самые тайные отношения жизни к жизни, и он познает, каким образом из них складывается жизнь в помышлении и в факте. Точно так в подвалах предо мной предстали отношения мышеловок к котам в их обоюдном взаимодействии. Тепло у меня стало на сердце, как у истого благородного кота, когда я осознал, что эти мертвые машины, в их пунктуальной деятельности, поселяют среди котовской молодежи великую лень. Схватив перо, я тотчас написал бессмертное произведение, уже упоминавшееся раньше: «О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и энергию в сфере кошачьего общества». В этом этюде я, как в зеркале, представил котовской молодежи всю ее изнеженность: отрекаясь от собственных сил, коты ленивые, бесстрастные, хотя и молодые, спокойно терпят, что мыши презрительно лакомятся шпиком. Своею громовою речью я пробудил всех ленивцев от сна. Наряду с той общественной пользой, которую принесла эта компактная книжечка, сочинение ее имело для меня еще ту выгоду, что я сам не мог ловить мышей, пока писал ее; да и потом, после того как я говорил так властно, так красноречиво, никому не могло прийти в голову потребовать от меня, чтоб я первый своим поведением представил пример провозглашенного героизма.

Сим кончаю я первый период моей жизни и перехожу к месяцам юности, в собственном смысле слова, к месяцам, которые граничат со зрелым возрастом. Не могу, однако, не сообщить благосклонному читателю две последние строфы превосходного стихотворения, выслушать которые не захотел мейстер. Вот они:

Сам я знаю: невозможно
Не питать любовных грез
В час, когда звучат тревожно
Соловьи средь спящих роз.
Взор безумный жадно ищет,
Где прекрасная моя
Спит, мечтает или рыщет
Так же страстно, как и я!
Вон я вижу! Где дорожка
Убегает в дальний луг,
Восхитительная кошка
Внемлет воплям страстных мук!
Внемлет зов мой и томится.
Вдруг прыжок, красotka мчится
И спешит ко мне прильнуть!
Так любовь всегда стремится
Пасть скорее к нам на грудь!
О изменчивые грезы
Упоительной тоски!
Но надолго ль эти слезы,
Песни, вопли и прыжки?
Полный сладкого недуга
Прочь бежишь любовных мук!
Жаждешь дружбы, ищешь друга!
Где ты, пудель? Где ты, друг?
Блещут Геспера уборы,

Я устал мечту ласкать,
Я кругом бросаю взоры,
Мчусь и лезу через заборы
Дружбу, дружбу отыскать!

(Мак. л.) ... в течение этого вечера в таком веселом жизнерадостном настроении, в каком его не видали уже давно. Именно это самое настроение и послужило причиной некоторой неслыханной вещи. Вместо того чтобы вскочить с места и поспешно удалиться, как он раньше всегда делал в подобных случаях, он спокойно и даже с добродушной улыбкой прослушал крайне длинный – и еще более скучный – вступительный акт ужасной трагедии, которую сочинил молодой, исполненный веры в свое призвание, краснощекий и курчавый лейтенант, и отрывок из которой он прочел со всеми претензиями счастливейшего поэта. Правда, когда автор, окончив чтение, стремительно спросил его, как ему нравится произведение, он, внутренне потешаясь и улыбаясь с приятностью, удостоверил юного героя, отличившегося на поле битвы и поэзии, что прочитанный акт, – настоящее лакомое блюдо, преподнесенное изысканным эстетикам-гастрономам, – содержит в себе на самом деле прекраснейшие идеи, за глубину и оригинальность которых ручается уже одно обстоятельство, что эти же идеи высказаны великими признанными поэтами, каковы, например, Кальдерон, Шекспир и современный Шиллер. Лейтенант обнял его горячо, и с таинственной миной сообщил, что этим превосходнейшим первым актом он думает сегодня же вечером осчастливить целое общество изысканнейших фрейлин, среди которых есть даже одна графиня, читающая по-испански и рисующая масляными красками. Услышав утверждение, что он задумал чрезвычайно похвальную вещь, лейтенант, полный энтузиазма, устремился прочь. Когда он удалился, тайный советник, мужчина маленького роста, проговорил с досадой:

– Я тебя совершенно не понимаю сегодня, любезный Иоганн! Как можно быть таким снисходительным, как можно слушать спокойно и внимательно такую безнадежную, бездарную вещь! Тоска овладела мной, когда лейтенант совершенно врасплох напал на нас и запутал в густые тенета своих бесконечных стихов. Я ждал каждую минуту, что ты прервешь его, как ты имеешь обыкновение делать при малейшем предложении. Но ты продолжал спокойно сидеть; смотрию – твой взгляд начинает даже выказывать благосклонность, и, в конце концов, когда я совершенно изнемог, ты отделяешься от этого несчастного сарказмом, которого он и понять не в состоянии, и даже не скажешь ему в предостережение на будущее время, что прочитанная вещь слишком длинна и, несомненно, нуждается в некоторой ампутации.

– Что я могу поделаться с этим жалким советом! – возразил Крейслер. – Разве такой выдающийся поэт, как наш любезный лейтенант, может с пользой предпринять ампутацию над своими стихами? Разве опять тотчас же не вырастут стихи под его руками? И разве ты не знаешь, что вообще стихи наших молодых поэтов обладают воспроизводительной силой ящериц: если они оборвут свой хвост о какой-нибудь корень, тотчас же хвост вырастает снова! Но я вовсе не спокойно слушал декламацию лейтенанта, в этом ты жестоко ошибаешься! Гроза миновала, все травы, цветы подняли снова головки свои и жадно впивали божественный нектар, который отдельными крупными каплями упал из умчавшихся вдаль облаков. Я стоял под цветущей сенью ветвей развесистой яблони и слушал, как мерно катился в далеких горах умолкающий гром, и вещей, загадочный отклик в душе у себя находил: я смотрел на лазурное небо, которое так же глядело, как синие очи, в просветы разорванных туч! «Однако, – воскликнул тут дядя, – ты должен тотчас же идти в комнаты, а то, пожалуй, испортишь свой новый шлафрок среди отвратительных луж, да как раз еще насморк схватишь от всей этой сырости». И вовсе не дядя это говорил, а какой-нибудь плут-попугай или насмешник-скворец, спрятавшийся за кустом или в кусте, или бог его знает где и, сказавший свою бесполезную шутку затем, чтоб меня подразнить, чтоб напомнить на свой лад драгоценные мысли Шекспира. И потом опять

предо мной стоял лейтенант со своей трагедией! Тайный советник, заметь, прошу тебя, что я был далеко увлечен от лейтенанта воспоминанием из дней моего детства. Я действительно стоял в дядином садике, мне было тогда лет двенадцать, на мне был надет шлафрок из прекрасного ситца, из самого прекрасного, какой когда-либо был выдуман набойщиком, и напрасно ты, о тайный советник, расточал свой курительный порошок, я его не ощущал, не вдыхал и запаха головной помады, уснащавшей голову поэта, – я вдыхал аромат прекрасной цветущей яблони. Словом, любезный, ты был единственным агнцем заклания, попавшим под злодейский трагический нож героя-поэта. Потому что, пока я, забыв весь мир, превращался в двенадцатилетнего мальчика и бегал в саду, омытом дождем, мейстер Абрагам, как ты видишь, успел изрезать четыре листа прекраснейшей нотной бумаги, приготовив из них всякие забавные фантазмагории. Стало быть, и он ускользнул от лейтенанта!

Крейслер был прав: мейстер Абрагам умел вырезать фигурки из картонной бумаги так искусно, что стоило только сзади поставить свечу – и тотчас же на стене ложились тени, образуя самые причудливые группы. Мейстер Абрагам по натуре своей терпеть не мог никакой декламации, но в особенности он питал глубокое отвращение к стихоплетству лейтенанта. Понятно, что как только тот начал читать свою трагедию, мейстер жадно схватил твердую нотную бумагу, случайно лежавшую на столе в комнате тайного советника, вынул из кармана маленькие ноженки и принялся за занятие, ускользнувшее от внимания лейтенанта.

– Послушай, Крейслер, – начал тайный советник, – значит, воспоминание о днях детства сделало тебя сегодня таким кротким и приветливым? Послушай, любезный друг, как все, кто уважает и любит тебя, я сгораю нетерпением узнать хоть что-нибудь о твоей прежней жизни! Между тем, ты набрасываешь какой-то покров на этот период своей жизни; каждый вопрос, брошенный вскользь, ты отклоняешь с крайним недружелюбием, и, чуть-чуть намекнув на то или другое обстоятельство твоего прошлого, только разжигаешь любопытство. Будь же откровенен с людьми, которым ты все-таки подарил свое доверие!

Крейслер остановил на тайном советнике взор, как будто исполненный удивления. Он походил на человека, очнувшегося от глубокого сна и видящего перед собой совершенно незнакомое лицо. Помолчав несколько мгновений, он начал крайне серьезным тоном:

– В праздник Иоганна Хрисостома (Златоуста), то есть двадцать четвертого января тысяча семьсот такого-то года, около полудня, родился некто, имеющий лицо, руки и ноги. Папаша его кушал в то время гороховый суп и от радости пролил себе на бороду полную ложку. Роженица, хотя и не видела этого, хохотала до такой степени, что у присутствовавшего музыканта, игравшего на лютне в честь новорожденного, задрожали руки, и все струны на лютне полопались. Музыкант поклялся ночным атласным чепчиком своей бабушки, что маленький трусишка Ганс будет жалким пачкуном, если займется музыкой. Отец вытер свой подбородок и патетически сказал:

– Он, правда, будет называться Иоганном, но он не будет трусишкой! Что касается лютни...

– Прощу тебя, Крейслер, – прервал капельмейстера тайный советник, – не впадай, ради бога, в проклятый юмор, от которого я, откровенно говоря, готов умереть. Я прошу, чтобы ты представил мне прагматическую автобиографию, я прошу дать мне возможность бросить хоть беглый взгляд в твою прошлую жизнь. Ты не должен дурно истолковывать мое любопытство: оно проистекает из чистого источника – глубокой сердечной привязанности к тебе. И что же ты делаешь? Ты рассказываешь странные вещи, и, слушая их, невольно приходит на ум, что ты своим духовным развитием обязан исключительно целому ряду разнородных сказочных приключений.

– Грубейшая ошибка, – сказал Крейслер, глубоко вздохнув. – Юность моя походит на опустевшую равнину, где нет ни зеленой листвы, ни цветов, где гаснет всякое чувство от безутешного однообразия.

– Ну, нет! – воскликнул тайный советник. – По крайней мере я знаю, что в этой пустыне есть маленький садик с цветущей яблоней, аромат которой нежнее, чем мой курительный порошок. Любезный Иоганн, я надеюсь, что ты расскажешь теперь подробно о юношеских воспоминаниях, заполонивших сегодня твое сердце.

– Я тоже думаю, – проговорил мейстер Абрагам, который только что вырезал превосходного капуцина и совершил над ним пострижение. – Самое лучшее, что вы можете сделать сегодня, Крейслер, пользуясь своим хорошим настроением, – это раскрыть свое сердце, или, если хотите, душу, или, если вам это не нравится, вашу внутреннюю сокровищницу, – раскрыть и достать оттуда несколько драгоценных вещей. Другими словами, так как вы уже рассказали, что вы выбежали на дождь против воли озабоченного вашим поведением дяди и северно искали каких-то вещей предсказаний в раскатах далекого грома, – вы можете рассказать и еще о том, что с вами тогда случилось. Но только не лгите, Иоганн, ведь вы знаете, что в те времена, когда на вас были надеты первые панталоны и на вашей голове была впервые заплетена коса, вы находились под моим непосредственным контролем.

Крейслер хотел что-то возразить, но мейстер Абрагам быстро повернулся в сторону маленькой фигурки тайного советника.

– Вы и не представляете себе, достойнейший, как наш Иоганн предается всецело злomu духу лжи, когда он рассказывает о ранних днях своей юности. Ему хочется верить, что даже в то время, когда ребенок только лепечет «па-па» и «ма-ма» и хватается при этом за свечку, он все уже знал и глубоким взором заглянул в человеческое сердце.

– Вы меня обижаете, мейстер, – мягко проговорил Крейслер, ласково улыбаясь. – Зачем хотите вы навязать мне мысли, свойственные только хвастунам и фатам? Спрошу и тебя, любезный советник, не случается ли с тобой иногда, что перед твоим умственным взором ярко выступают отдельные моменты, относящиеся к тому периоду жизни, который глубоко-мысленные люди называют периодом чисто растительной жизни, периодом инстинкта, лучше всего функционирующим у животных. Меня постоянно удивляло одно обстоятельство: никогда нельзя точно определить первый момент ясного пробуждения сознания. Если бы было возможно пробудить сознание каким-нибудь толчком, я думаю, что мы могли бы в такой момент умереть от ужаса. Кто не испытывал страха первых моментов пробуждения после глубокого сна, когда, ощущая свою личность, человек должен подумать о самом себе? Но не буду отвлекаться в сторону; я хотел только сказать одно: каждое сильное впечатление, полученное в первый период развития, оставляет в душе зерно, которое растет вместе с ростом умственной силы. Таким образом, каждая скорбь, каждая утеха отлетевших утренних сумерек продолжают в нас жить, и сладкие голоса, пробудившие нас от сна, оказываются голосами наших близких, хотя нам казалось, что только в сонных грезах звучал какой-то далекий призыв! Но я понимаю мейстера, он намекает на историю об умершей тетке, он желает оспаривать подлинность фактов, которые я рассказываю, чтобы немного позлить мейстера я передам тебе, тайный советник, эту историю, если только ты обещаешь не отнестись дурно к моей ребяческой чувствительности. Гороховый суп и лютя, о которых...

– Замолчи! – воскликнул тайный советник. – Я вижу теперь хорошо, что ты потешаешься надо мной просто до неприличия.

– Отнюдь нет, душа моя, – продолжал Крейслер. – Но я хочу начать с лютни, потому что она образует вполне естественный переход к божественным звукам, баюкавшим первые сладкие детские сны. Младшая сестра моей матери играла, как виртуоз, на этом – забытом теперь – музыкальном инструменте. Степенные люди, которые умеют считать и писать и знают еще многое другое, нередко проливали в моем присутствии слезы, когда они только вспоминали об игре покойной мадемуазель Софи; не нужно, значит, думать дурно обо мне, если я, – неразумный ребенок, не имеющий ясного сознания, лишенный еще дара речи, – жадно впи-вал всю сладкую скорбь волшебной гармонии, которая страстно лилась с мелодических струн

лютни. Музыкант, игравший на лютне около моей колыбели, был учителем покойницы. Он был маленького роста, кривоногий, носил красный плащ, опрятный, белый парик с широкими прядями волос, и назывался monsieur Тургэль. Я говорю все это только затем, чтобы доказать, как отчетливо встают в моей памяти все фигуры того времени, и что мейстер Абрагам, равно как и всякий другой, не должен сомневаться в моих словах, если я скажу, что ребенком менее чем трех лет я запомнил, как я лежал на руках у милой, прекрасной девушки, как ее глаза глядели прямо в мою душу, как она говорила, пела голосом, памятным мне до сих пор, как я к ней обращал всю любовь своего сердца. Это была тетка Софи, которую называли все странным уменьшительным именем Фюсхен. В один прекрасный день я очень капризничал, потому что не видал тетушки Фюсхен. Нянька принесла меня в комнату, где тетушка лежала в постели, но старый человек, сидевший около нее, быстро вскочил и увел няньку, браня ее с ожесточением. Вскоре после этого меня одели, закутали в толстые платки, принесли в совершенно другой дом, к другим людям, которые все уверяли меня, что они мои дяди и тетки и что тетушка Фюсхен очень больна, и что, если я остался бы около нее, я точно также захворал бы. По истечении нескольких недель меня принесли назад в мое прежнее местопребывание. Я плакал, кричал и хотел непременно видеть тетушку Фюсхен. Как только вошел я в комнату, где лежала она, я подбежал своими ножонками к постели, отдернул занавеси, – постель была пуста, и одна из моих новых теток сказала, заливаясь слезами: «Ты ее не найдешь, Иоганн, она умерла и лежит под землей».

Я знаю отлично, что смысл этих слов не мог быть тогда мне понятен, но еще и теперь, вспоминая о той минуте, я дрожу от странного, невыразимого чувства, охватившего меня в то время. Смерть, сама смерть, налегла на меня в своем холодном панцире, ужас ее проник в мою грудь, и пред ним потускнели все радости моих первых детских лет. Что я делал потом и как себя вел, я сам не знаю, да, может быть, и никогда не знал, но другие мне часто рассказывали, что, услышав фразу о смерти, я медленно задернул занавеси, несколько мгновений стоял безмолвный и серьезный, потом в глубокой задумчивости сел на свой маленький соломенный стульчик, точно размышляя о сказанном. Мне говорили еще, что эта тихая скорбь ребенка, отличавшегося склонностью к шумному проявлению своих ощущений, имела в себе неизъяснимую трогательность, и что родные даже боялись вредных последствий для моего физического здоровья, потому что в таком настроении я пробыл несколько недель, без слез, без смеха, чуждаясь всяких игр, не отвечая на ласки, ничего не замечая вокруг себя.

В это самое мгновение мейстер Абрагам поставил перед свечами листок бумаги, прихотливо изрезанной вдоль и поперек, и на стене отразился целый хор монахинь, играющих на странных инструментах.

– Эге! – воскликнул Крейслер, увидевши всю эту группу прилично одетых сестер. – Я знаю, мейстер, на что вы хотите намекнуть. И все же я буду смело утверждать, что вы были неправы, когда бранили меня, когда называли упрямым, неразумным мальчишкой, который своими печалью может создать целый монастырь унылых звуков. Я помню, как вы в первый раз взяли меня с собой за двадцать-тридцать миль от родного города и повели в монастырь Святой Клары послушать настоящую католическую церковную музыку; я тогда имел, конечно, вкус ко всякой блестящей безвкусице, – таковы были мои года. Не было ли потому вдвойне прекрасно, что давно забытая скорбь трехлетнего мальчика проснулась с новой силой в душе у меня и родила мечту, полную страстного очарования, полную томительной грусти! Разве я не утверждал, несмотря на все разуверения, что никто другой, а только тетушка Фюсхен, давно умершая, могла играть на чудном инструменте, называвшемся *trompette marine*²⁷. Зачем помешали вы мне протесниться среди монахинь и найти тетушку Фюсхен, одетую в зеленое платье с розовым шлейфом?

²⁷ Буквально «морская труба» (*фр.*) – старинная скрипка с одной струной.

Крейслер устремил на стену пристальный взор и сказал дрожащим, полным чувства голосом:

– Верно! Вон поднимается среди монахинь тетушка Фюсхен, она встает на скамейку, чтобы лучше держать трудный инструмент!

Тайный советник вскочил с своего места и остановился перед Крейслером, так что загородил вид теней, и, взяв его за плечи, сказал:

– Было бы гораздо умнее, Иоганн, если бы ты не предавался своим странным фантазиям и не говорил об инструментах, которых совсем даже не существуют на свете, потому что на самом деле никогда в жизни я ничего не слышал о какой-то *trompette marine*!

Мейстер Абрагам швырнул бумагу под стол, заставив исчезнуть во тьме монахинь, и химерическую тетушку Фюсхен, и *trompette marine*; потом он со смехом воскликнул:

– О, достойнейший тайный советник! Господин капельмейстер теперь, как и всегда, является вполне разумным, трезвым человеком, и вовсе не фантазером и шутником, каким его охотно считают многие. Разве это вещь невозможная – допустить, что m-lle Софи после своей смерти переселилась в музыкальный инструмент, который еще и теперь встречается кое-где в женских монастырях? Как, *trompette marine* даже не может существовать? Отыщите же, если так, статью под этим заглавием в музыкальном лексиконе Коха, находящемся среди ваших книг.

Тайный советник взял лексикон и прочел вслух:

– Этот старый, чрезвычайно простой инструмент состоит из трех тонких планок семь футов длиной; снизу, где инструмент ставится на пол, эти планки имеют в ширину от шести до семи дюймов, сверху только два дюйма; они сходятся в виде треугольника, так что инструмент имеет форму ящика, суживающегося по направлению от основания к вершине. Одна из планок снабжена несколькими круглыми дырочками и единственной толстой римской струной. Во время игры инструмент ставят перед собой немного наискось, прижимая верхнюю его часть к груди. Правой рукой музыкант ударяет смычком по струне, а большим пальцем левой руки прижимает струну там, где нужно вызвать соответствующий звук, прижимает тихо, так же почти, как и струны скрипки, чтобы вызвать нежный звук свирели или флейты. Своеобразный тон этого инструмента, похожий на звук далекой трубы, происходит благодаря так называемой кобылке, на которой покоится снизу струна в том месте инструмента, где производится резонанс. Кобылка эта имеет вид маленького башмака, спереди – низкого и тонкого, сзади – высокого и толстого. На задней стороне этого приспособления прикреплена струна, которая от соприкосновения со смычком покачивается и двигает переднюю легкую часть кобылки взад и вперед по дну инструмента, отчего происходит подавленный звук, точно от трубы.

– Сделайте мне такой инструмент, мейстер Абрагам, – воскликнул с пылающим взором тайный советник, – я заброшу тогда свою скрипку, не прикоснусь больше к эвфону и повергну весь город и двор в изумление, играя чудные мелодии на *trompette marine*!

– Хорошо, я сделаю, – проговорил мейстер Абрагам, – и пусть дух тетушки Фюсхен, одетой в платье из зеленой тафты, снизойдет к вам и будет вашим вдохновляющим гением!

Тайный советник, совершенно восхищенный, обнял мейстера, но Крейслер развел их, говоря почти сердито:

– Ну, не злые ли вы насмешники и не ведете ли вы себя жестоко по отношению к человеку, которого будто бы любите! Ограничьтесь тем, что вы вылили на меня целый ушат холодной воды, прочитав описание сказочного инструмента, от чьих звуков трепетало мое сердце! Не говорите больше ничего о Фюсхен, извлекавшей из лютни дивные мелодии! Ты хотел, советник, услышать рассказ о днях моей юности, а мейстер вырезал, кстати, теневые фигуры, напоминающие о далеком минувшем, следовательно, ты можешь быть доволен нарядным изданием моей биографии, украшенным прелестными гравюрами. Когда ты читал отрывок из Коха, мне вспомнился его литературный коллега Гердер, и я уже видел себя мертвецом, распростертым

на длинном столе, готовым к биографическому вскрытию. Общий вид как будто гласил: нет ничего удивительного, что в теле этого молодого человека через тысячи жил и жилок течет настоящая музыкальная кровь: точно то же замечалось у многих его родственников, почему он им и был близок по крови. Точней выражаясь, я хочу сказать, что большинство моих дядей и теток, которых было немалое количество, как хорошо знает мейстер и как сейчас узнаешь и ты, занимались музыкой и играли на инструментах, теперь или совсем вышедших из употребления, или сделавшихся крайне редкими. До сих пор я часто слышу во сне дивные концерты, слышанные мной в действительности, когда мне было десять или одиннадцать лет. Быть может, благодаря именно такому обстоятельству, мой музыкальный талант уже в самом своем зарождении получил направление, которое считается слишком фантастичным. Если ты, тайный советник, можешь удерживать слезы, когда слышишь прекрасные звуки какого-нибудь старинного инструмента, например *Viola d'Amore*²⁸, ты должен благодарить Создателя за свою крепкую организацию. Я же порядком хныкал, когда на этом инструменте играл некий полный, высокий человек, к которому ужасно шло духовное одеяние и который тоже был моим дядей. Равным образом хороша и увлекательна была игра одного родственника, игравшего на *Viola da Gamba*²⁹, хотя дядя, который занимался или, вернее, не занимался моим воспитанием и который с дьявольской виртуозностью гремел на шпинете, сильно сбивался с такта, аккомпанируя ему. Бедняк снискал всеобщее презрение семьи, когда сделалось известным, что он после музыки сарабанды танцевал менуэт *à la Pompadour*³⁰. Вообще я мог бы порассказать вам кое-что о музыкальных увеселениях моей семьи, нередко крайне оригинальных, но с этим связано много потешного, над чем вам пришлось бы хохотать, а предоставить своих дорогих родственников вашему осмеянию мне запрещает *respectus parentalis*³¹.

– Иоганн, – начал тайный советник, – не сердись на меня, пожалуйста, если я затрону твою большую струну. Ты все говоришь о тетках, о дядях и ни словом не вспомнишь ни отца, ни мать!

– О, друг мой, – ответил Крейслер с выражением глубокого чувства, – именно сегодня хотел я... Но довольно воспоминаний, снов! Не будем говорить о забытом горе детских лет! Да, мейстер, вы правы, я стоял под развесистой яблоней и вслушивался в странные, вещие раскаты далекого грома. Ты яснее представишь себе, тайный советник, угнетенное состояние, в котором я два года прожил после смерти тетушки Фюксен, если я скажу тебе, что смерть моей матери, относящаяся к этому же времени, не произвела на меня особенного впечатления. Но почему мой отец всецело передал или вынужден был передать меня попечениям брата моей матери, я не могу сказать, потому что объяснение этого ты, если хочешь, прочтешь в любом затасканном романе из семейной жизни или в какой-нибудь комедии Иффланда, изображающей семейные несчастья. Достаточно будет сказать, что добрую часть детских и юношеских лет я прожил среди ужасного однообразия благодаря отсутствию родительской любви. Самый плохой отец, думается мне, все же лучше, чем самый хороший воспитатель, и мне страшно становится, когда родители в неразумии отсылают от себя своих детей и помещают в каком-нибудь учебно-воспитательном заведении, где бедняжек подгоняют всех под одну норму, не обращая ни малейшего внимания на их индивидуальность, вполне понятную только родителям. Никто не должен удивляться моей невоздержности, неблаговоспитанности. Дядя обо мне совсем не заботился, предоставляя меня всецело произволу домашних учителей, преподавание которых заменяло посещение школы. Если иногда ко мне и приходил какой-нибудь мальчик моих лет – случайный знакомый – это не могло нарушить уединение и глубокую тишину дома, в котором

²⁸ Виоль д'амур – старинный смычковый музыкальный инструмент.

²⁹ Виоль да гамба (ножная виола) – старинный струнный смычковый инструмент.

³⁰ В стиле Помпадур (*фр.*).

³¹ Почтение к родственникам (*лат.*).

дядя-холостяк жил один с своим старым угрюмым лакеем. Я вспоминаю только о трех различных случаях, когда дядя, спокойный и равнодушный почти до тупоумия, предпринял краткий воспитательный акт, наделив меня пощечиной; таким образом, в течение моего детства я получил их три. Я мог бы тебе рассказать романтическую историю этих трех пощечин, благо я сегодня в таком болтливом настроении, но ограничусь пока историей второй пощечины, связанной с моими музыкальными занятиями, которыми ты больше всего интересуешься. У дяди была порядочная библиотека, где я рылся как хотел. Мне попала под руку «Исповедь» Руссо в переводе на немецкий язык. Я с жадностью прочел книгу, написанную совсем не для двенадцатилетнего мальчика. Многие в ней могло посеять дурные семена в моей душе; но из всего, что там рассказывается, только одно обстоятельство всецело наполнило мой ум, заставив забыть про все остальное. Подобно электрическому удару меня поразил рассказ, как мальчик Руссо, увлекаемый могучим гением музыки, звучавшей в его душе, – лишенный всяких вспомогательных средств, без всяких музыкальных знаний, без знакомства с гармонией и с контрапунктом – решился сочинять оперу, как он опустил в комнате занавеси, бросился на постель, чтобы всецело отдаться вдохновению творческой силы, и как наконец его произведение стало развертываться перед ним подобно волшебному сну. Ни днем, ни ночью меня не покидало сознание блаженства подобной минуты. Часто казалось мне, что и я сам принимаю участие в этом блаженстве, и что только стоит решиться – и я тоже вознесусь в волшебные райские страны, так как гений гармонии живет и в моей груди. Словом, я пришел к сознанию необходимости подражать моему образцу. Когда однажды в ненастный осенний вечер дядя, против своего обыкновения, вышел куда-то из дому, я тотчас спустил занавеси и бросился на дядину постель, чтобы, подобно Руссо, создать в уме оперу. Но как ни прекрасны были все приготовления, как я ни старался призвать к себе духа музыки, он упрямо отказывался посетить меня. Вместо чудных образов, которые должны были появиться у меня, в ушах моих начала настойчиво раздаваться старинная жалкая песенка, начинавшаяся плачевными словами:

Любил я одну лишь Йемену,
И Йемена любила меня...

Как я ни отгонял от себя этот мотив, он не хотел оставить меня. Я восклицал:

Спускаются боги с Олимпа
При свете лучистого дня...

А назойливая мелодия неустанно жужжала мне в уши:

Любил я одну лишь Йемену,
И Йемена любила меня...

Наконец я заснул. Меня разбудили громкие голоса в то время, как невыносимый запах лез мне в нос, отчего у меня спиралось дыхание. Вся комната была наполнена густым дымом. Дядя, как в облаке, стоял около гардеробного шкафа, топтал остатки горевших занавесей и кричал: «Воды, воды!», пока, наконец, старый лакей не принес столько воды, что она залила весь пол и совершенно погасила огонь. Дым медленно тянулся через окно. «Где же бедокур?» – спросил дядя, осматривая с огнем всю комнату. Я отлично знал, про какого бедокура он спрашивал и, как мышь, притаился в постели. Дядя подошел ко мне и заставил подняться гневным окриком: «Встать сейчас же» «Ты что это, злодей, – продолжал он, – хочешь весь дом поджечь!» На дальнейшие расспросы я совершенно спокойно удостоверил, что, подобно мальчику Руссо,

написавшему «Исповедь», я лежал в постели, сочиняя *Opera seria*³², и совершенно не знаю, как произошел пожар. «Руссо? Сочинял? *Opera seria*? Олух!» – лепетал, задыхаясь, дядя и вдруг дал мне пощечину – вторую по счету – такую сильную, что я внезапно замолчал от страха и в то же самое мгновение совершенно явственно услышал, точно созвучие к удару: «Любил я одну лишь Йемену...» Как по отношению к этой песне, так и по отношению к композиторскому вдохновению я получил с той минуты живейшее отвращение.

– Но как же произошел пожар? – спросил тайный советник.

– До сих пор я не могу понять, каким образом вспыхнули занавеси, увлекши за собой к гибели прекрасный дядин шлафрок и три или четыре отличных тупея. Мне всегда представлялось, что я получил пощечину не за пожар, в котором вина была не моя, а за предпринятую мной композицию. Довольно странно, что дядя только настаивал на моих занятиях музыкой, несмотря на то, что учитель, обманутый мгновенным отвращением к ней, проявившимся у меня, счел меня за существо, абсолютно лишенное музыкальных способностей. Что касается другого, дяде было решительно все равно, учусь я или не учусь. Так как он неоднократно высказывал живейшее неудовольствие по поводу того, что меня трудно заставить заниматься музыкой, можно было бы ожидать, что он будет очень обрадован, когда спустя два года музыкальный талант проявился во мне необычайно; на самом деле ничего подобного не случилось. Дядя улыбнулся только слегка, когда заметил, как быстро и виртуозно я овладеваю различными инструментами, и когда, к удовольствию знатоков и мастера, я сочинил одну небольшую вещицу. Он только слегка улыбнулся и с лукавой миной сказал на все похвалы: «Да, племянничек у меня забавный».

– В таком случае мне непонятно, – проговорил тайный советник, – почему дядя не предоставил полную свободу твоим склонностям, а заставил тебя избрать другую жизненную карьеру. Насколько я знаю, ты совсем недавно сделался капельмейстером.

– Да и недалеко пошел, – с улыбкой воскликнул мастер Абрагам, представляя на стене изображение какого-то удивительного маленького человечка. – Я должен теперь заступиться за славного дядю, которого некий бесславный племянник называл *O weh Onkel*³³ по первым буквам его имени и фамилии – Оттфрид Венцель. Перед целым миром могу засвидетельствовать, что, если капельмейстеру Иоганну Крейслеру вздумалось сделаться советником при посольстве и навязывать своей натуре совершенно чуждые ей вещи, никто в этом не был менее виноват, чем *O weh Onkel*.

– Будет об этом, мастер, – сказал Крейслер, – да уберите заодно дядюшку со стены, потому что, если он и выглядел действительно смешным и жалким, сегодня все же я не могу смеяться над стариком, который давно лежит в могиле.

– Вы нынче решительно берете на себя тон приличной чувствительности, – возразил мастер, но Крейслер не обратил на него никакого внимания и продолжал, обращаясь к тайному советнику:

– Ты расквасишься в том, что заставил меня разговориться, так как, может быть, ты ждешь каких-нибудь необыкновенных рассказов, а я могу предложить твоему вниманию лишь самые заурядные вещи, повседневно встречающиеся в жизни. Не принуждение воспитателей и не упрямство Рока, а просто обычное течение вещей вынудило меня избрать путь, к которому у меня не было склонности. Замечал ли ты, что в каждой семье есть божок, который вознесен до своего исключительного положения или особенными способностями, или счастливой игрой случая; он является героем, центром, около которого все группируются, милые родственники смотрят на него снизу вверх, своим повелительным голосом он раздаст приговоры – и на них нет апелляции. Так было с младшим братом моего дяди, который бежал из музы-

³² Серьезную оперу (*ит.*).

³³ Увы, дядя (*нем.*).

кального фамильного гнезда, отправился в столицу и в качестве советника при посольстве стал играть довольно важную роль, будучи одним из приближенных князя. Его быстрый успех привел родных в почтительное и не ослабевающее изумление. Имя его стали произносить с серьезной торжественностью, и все мгновенно утихало в немом преклонении, когда кто-нибудь говорил: «Советник при посольстве написал то-то или сказал то-то». Так как с самых ранних лет моего детства я привык смотреть на дядю, живущего в столице, как на личность достигшую высшей цели человеческих стремлений, естественно, я не мог сделать ничего лучшего, как идти по его стопам. Портрет знатного дяди висел в парадной комнате, и самым горячим моим желанием было одеваться и завиваться так, как дядя. Это желание было удовлетворено моим воспитателем: я имел забавный вид десятилетнего мальчика с возносящимся высоко над головой тупеем, нарядно завитым, на мне был надет светло-зеленый камзол с серебряным шитьем, шелковые чулки, а сбоку висела маленькая шпага. По мере того как я делался старше, мое ребяческое честолюбие глубже развивалось в моей душе: я ревностно изучал самые сухие науки, стоило только мне сказать, что эти занятия необходимы мне, если я в будущем желаю сделаться советником при посольстве. Видеть жизненную цель в искусстве, наполнявшем мою душу, я не мог уже потому, что всегда в моем присутствии о музыке, живописи и поэзии говорили, как о вещах, чрезвычайно приятных, назначенных для развлечения и увеселения общества. На пути моем не оказалось никаких препятствий и благодаря помощи дяди и приобретенным знаниям, я стал быстро идти вперед по житейскому поприщу, избранному в известной степени вполне добровольно. Эта быстрота движения не оставляла мне ни одной свободной минуты, когда бы я мог оглянуться вокруг и заметить, что вступил на ложный путь. Цель была достигнута, и не было возврата, когда самым неожиданным образом искусство, которому я изменил, отомстило за себя, мысль о невозвратно утраченной жизни охватила меня, и с безутешной тоской я увидел, что закован в цепи, из которых, казалось, нельзя было вырваться.

– Значит, целебна была катастрофа, освободившая тебя от уз! – воскликнул тайный советник.

– Нет, это не совсем так, – возразил Крейслер. – Освобождение пришло слишком поздно. Со мной было, как с тем заключенным, который после долгого сиденья в тюрьме был, наконец, освобожден, но до такой степени отвык от людской суеты, от яркого света, что не мог уже больше наслаждаться золотой свободой и предпочел вернуться назад в свое заключение.

– Это все ваши выдумки, Иоганн, – вмешался в разговор мейстер Абрагам, – вы мучаете ими и себя, и других. Подите вы! Судьба всегда чрезвычайно благоволила к вам. Но вы никогда не хотели стремиться вперед по прямой дороге, вам нужно было бросаться то влево, то вправо; кто ж виноват в этом, кроме вас самих? Но вы правы в одном: в дни вашего детства над вами горела необыкновенная, особенная звезда, и...

Раздел второй Жизненные испытания юноши

И я родился в Аркадии



(М. прод.) ... Однажды мейстер воскликнул, обращаясь к самому себе: «А ведь было бы забавно и в то же время необыкновенно достопримечательно, если бы маленький седовласый герой, живущий под печкой, обладал всеми качествами, какие приписывает ему профессор! Гм! Думается мне, что он мог бы тогда обогатить меня гораздо больше, чем моя невидимая девица. Я запер бы его в клетку, и он должен был бы показывать свои искусства перед целым светом, который охотно бы заплатил за это хорошую дань. Научнообразованный кот всегда может сделать и сказать гораздо больше, чем скороспелый юноша, напичканный различными экзерцициями. Кроме того, у меня был бы всегда даровой переписчик! Нужно хорошенько исследовать этот вопрос!»

Услыхав слова мейстера, я вспомнил предостережение незабвенной матери моей Мины и, тщательно остерегаясь выказать, что я понял мейстера, твердо решил скрывать свое образование. Я стал читать и писать исключительно ночью, и с благодарностью могу засвидетель-

ствовать при этом, что я увидел особую благодать Провидения, даровавшего нашему презираемому роду много преимуществ в сравнении с двуногими существами, которые, бог знает почему, считают себя царями мироздания: когда я занимался по ночам, мне не нужно было ни свечей, ни фабрикации из масла, так как фосфор моих глаз ярко светил в ночной тьме. Несомненно, следовательно, что мои сочинения свободны от упрека, сделанного какому-то античному писателю, что именно произведения его ума пахнут копотью лампы. Но, будучи твердо убежден в высоком превосходстве, дарованном мне природой, я должен, однако, сознаться, что все здесь, на земле, заключает в себе некоторые несовершенства, которые опять-таки находятся в тесной между собой зависимости. О физической стороне нашего «я», которую врачи никогда не называют естественной, хотя она кажется мне вполне естественной, я совсем не буду говорить, а замечу только о психическом нашем организме, что в нем также замечаются несовершенства, соподчиненные между ними отношения. Разве не верно, например, что наш полет нередко задерживается какой-то свинцовой тяжестью, относительно которой мы не знаем, что собственно она из себя представляет, откуда появляется и кто ее нам навязывает.

Будет, однако, лучше и справедливее, если я скажу, что все зло проистекает от дурного примера; слабость нашей природы именно в том и заключается, что мы не можем не следовать дурному примеру. Убежден я также, что именно человеческий род собственно предназначен судьбой показывать дурной пример.

К тебе обращаюсь, мой читатель, мой благосклонный молодой кот, и спрашиваю тебя: не приходилось ли тебе когда-нибудь впасть в состояние, непонятное тебе самому, доставившее тебе горькие упреки, а может быть, даже и укусы твоей житейской спутницы? Ты был ленив, сварлив, упрям, обжорлив, ни в чем не находил удовольствия, всегда был там, где не должно, всем доставлял неприятности – словом, был невыносимым сорванцом! Утешься, кот! Такой беспутный период твоей жизни вовсе не проистекал из глубины свойственной тебе индивидуальности, нет, это была дань, которую все мы платим правящему нами началу, платим в том смысле, что следуем дурному примеру людей, которые ввели в употребление этот переходный период. Утешься, мой кот, и со мною было не лучше!

Среди моих ночных занятий мной стало овладевать какое-то недовольство – что-то похожее на пресыщение неудобоваримыми вещами: я ложился и засыпал на той самой книге, которую только что читал, на той самой рукописи, которую только что написал. Эта леность овладевала мною все больше и больше; наконец, дошло до того, что я не мог больше ни писать, ни читать, ни совершать прыжки, ни бегать, ни поддерживать отношения с друзьями на крыше или в подвале. Вместо этого я чувствовал непреодолимый порыв делать все, что неприятно мастеру или друзьям, что могло их обременить. Что касается мастера, он долгое время ограничивался изгнанием меня, когда я выбирал для лежания места, где он не терпел моего присутствия. Однажды он принужден был даже несколько постегать меня. Именно постоянно вспрыгивая на письменный стол мастера, я однажды так долго вертел хвостом в разные стороны, что наконец кончик его попал в большую чернильницу, и я, как кистью, стал разводить им удивительные узоры на полу и на диване. Мастер, по-видимому, ничего не смыслящий в этой отрасли искусства, пришел в бешенство. Я бежал на двор, но, пожалуй, очутился там в еще более неприятном положении. Некий большой кот, чрезвычайно почтенной наружности, давно изъявлял недовольствие по поводу моего поведения. Теперь, когда я нелепым образом хотел стянуть у него из-под носа лакомый кусок, который он только что хотел проглотить, старый кот, без дальних слов, надавал мне такую массу пощечин по обеим сторонам лица, что я был совершенно ошеломлен, и из ушей моих потекла кровь. Если я не ошибаюсь, достойный кот был моим дядей, так как в его лице светилось что-то напоминающее Мину, а фамильное сходство бороды было несомненно. Словом, нужно сознаться, что я в это время весь ушел в шалости, так что мастер Абрагам говорил: «Я, право, не знаю, что с тобой, Мурр! В конце концов, я готов думать, что ты вступил в годы юношеских проказ!» Мастер был прав, это был роко-

вой период проказ, который я должен был пережить по дурному примеру людей, выдумавших этот период, как нечто необходимое их природе и добившихся того, что он вошел во всеобщее употребление. Люди называют его годами юношеских проказ, хотя многие во всю свою жизнь не кончают этого «юношеского» периода; что касается нашего брата, кота, мы можем только говорить о неделях проказ. Сам я кончил этот период одним сильным толчком или, вернее, прыжком, чуть не стоившим мне ноги или нескольких ребер. Я должен рассказать, как это произошло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.